

A close-up photograph of a glass filled with an amber-colored liquid, likely whiskey or cognac, surrounded by several large, clear ice cubes. The scene is set against a light blue background with a subtle gradient. The glass and ice are the central focus, with the liquid's color contrasting with the clear ice and the blue background.

# ФРАНК ВЕНЕКИНД ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ

# Франк Ведекинд

## Пробуждение весны

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=7239955](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7239955)*

### Аннотация

«Вендла: Зачем мне сделали такое длинное платье, мама?

Госпожа Бергман: Сегодня тебе исполнилось четырнадцать лет!

Вендла: Если бы я знала, что ты сделаешь мне такое длинное платье, так лучше мне не дожить до четырнадцати.

Госпожа Бергман: Платье не такое длинное, Вендла! Что ж делать? Я не виновата, что моя дочка растет и растет с каждой весной. Как же тебе, взрослой девушке, расхаживать в принцессе?...»

# Содержание

Действие первое	5
Сцена первая	5
Сцена вторая	7
Сцена третья	16
Сцена четвертая	21
Сцена пятая	25
Действие второе	31
Сцена первая	31
Сцена вторая	38
Сцена третья	43
Сцена четвертая	46
Сцена пятая	47
Сцена шестая	49
Сцена седьмая	50
Действие третье	58
Сцена первая	58
Сцена вторая	65
Сцена третья	70
Сцена четвертая	76
Сцена пятая	79
Сцена шестая	84
Сцена шестая	87

**Ведекинд Франк**  
**Пробуждение весны**  
*Детская трагедия*

Перевод Федера под редакцией Федора Сологуба

\* \* \*

*Человеку в маске*

# Действие первое

## Сцена первая

(Комната)

Вендла: Зачем мне сделали такое длинное платье, мама?

Госпожа Бергман: Сегодня тебе исполнилось четырнадцать лет!

Вендла: Если бы я знала, что ты сделаешь мне такое длинное платье, так лучше мне не дожить до четырнадцати.

Госпожа Бергман: Платье не такое длинное, Вендла! Что ж делать? Я не виновата, что моя дочка растет и растет с каждой весной. Как же тебе, взрослой девушке, расхаживать в принцессе?

Вендла: Во всяком случае, моя принцесса идет мне больше, чем этот халат. – Дай мне еще поносить ее, мама! Хоть одно только лето. В четырнадцать или в пятнадцать, эта хламида мне всегда будет впору. – Оставим ее до следующего дня моего рождения. Теперь я только буду наступать на оборку.

Госпожа Бергман: Не знаю, что и сказать. Я бы тебя, дитя, охотно оставила, как ты есть. Другие девочки в твоем возрасте бестолковые дылды. Ты совсем не такая. – Кто тебя знает, какую будешь ты, когда другие только начинают раз-

виваться.

Вендла: Кто знает – может быть, меня уже и на свете не будет.

Госпожа Бергман: Дитя, дитя! Откуда у тебя эти мысли!

Вендла: Ничего, милая мама, не горюй.

Госпожа Бергман: (целуя ее) Сокровище мое, ненаглядное!

Вендла: Они приходят ко мне по вечерам, когда я не сплю. И от них мне вовсе не грустно, и даже знаю, что потом лучше засну. – Грешно, мама, думать об этом?

Госпожа Бергман: Ну, иди и повесь хламиду в шкаф! Надевай себе с Богом свою принцессу! – Я как-нибудь при случае подошью тебе воланов пальца на четыре.

Вендла: (вешая платье в шкаф) Нет, уж лучше быть двадцатилетней!..

Госпожа Бергман: Если бы только тебе не было так холодно! – В свое время и это платьице было достаточно длинно, но...

Вендла: Теперь, когда наступает лето? – Ах, мама, ведь и у детей дифтерит из-под коленок не начинается. Поищи таких бедняг. В мои годы не зябнут, особенно в ногах. Мама, разве лучше, чтобы было очень жарко? Благодарю Бога, что твое сокровище не обрезало в одно утро рукава и не вышло к тебе на встречу, так без чулок и башмаков! Когда я буду носить мою хламиду, внизу я оденусь царицею эльфов... Не бранись, мамочка, этого никто не увидит.

## Сцена вторая

(Воскресный вечер)

Мельхиор: По мне это слишком скучно. Я больше не играю.

Отто: Тогда и нам придется бросить. Ты приготовил уроки, Мельхиор?

Мельхиор: Да вы продолжайте!

Мориц: Куда ты идешь?

Мельхиор: Гулять.

Георг: Да уже смеркается!

Мельхиор: Почему мне нельзя гулять в темноте?

Эрнест: Центральная Америка! – Людовик XV! – Шестьдесят стихов из Гомера! – Семь уравнений!

Мельхиор: Проклятые уроки!

Георг: Хотя бы завтра не было латинского сочинения.

Мориц: О чем ни вспомнишь, а все в голову лезут уроки.

Отто: Я пойду домой.

Георг: И я, готовить уроки.

Эрнест: И я, и я.

Роберт: Покойной ночи, Мельхиор.

Мельхиор: Приятного сна.

(Все, кроме Морица и Мельхиора, уходят)

Мельхиор: Хотел бы я знать, для чего, в конце концов, мы живем на свете!

Мориц: Лучше бы мне клячей быть, дрожжи таскать, чем в школу ходить. Для чего мы ходим в школу? – Мы ходим в школу для того, чтобы нас экзаменовали, – а для чего нас экзаменуют? Чтобы мы провалились. Ведь семеро должно провалиться уже потому, что в следующем классе может поместиться всего шестьдесят человек. – Мне так не по себе, с Рождества... Чорт возьми! Если б не отец, я сегодня же связал свой узелок и отправился бы в Альтонз!

Мельхиор: Поговорим о чем-нибудь другом.

(Они прохаживаются)

Мориц: Видишь там черную кошку с задранной кверху хвостом?

Мельхиор: Ты веришь в приметы?

Мориц: Не знаю, наверно... Она оттуда пришла. Ничего нельзя сказать.

Мельхиор: Я думаю, это Харибда, в которую попадает всякий, кто вырвался из Сциллы религиозных убеждений. – Сядем здесь, под буком. Теплый ветер несет с гор. Хотел бы я теперь быть наверху, в лесу, молодой дриадою, всю долгую ночь, на самых вершинах колыхаться и качаться.

Мориц: Застегни курточку, Мельхиор!

Мельхиор: Ух, раздувает одежду!

Мориц: Как темно! – руки перед самым носом не вижу. Ты где?.. А ты не думаешь, Мельхиор, что стыдливость в человеке – только следствие воспитания?

Мельхиор: Вот об этом я думал третьего дня. Мне кажет-



ся, что стыдливость очень глубоко внедрилась в человеческую натуру. Представь себе, что ты должен совсем раздеться перед своим лучшим другом. Ты этого не сделаешь, если и он не станет делать то же самое. — К тому же, это более или менее дело моды.

Мориц: Я уже думал, когда у меня будут дети, мальчики и девочки, я заставлю их спать в одной и той же комнате, если можно, на одной кровати; чтобы утром и вечером, одеваясь и раздеваясь, они помогали друг другу; в теплое время все они, и мальчики и девочки, буду у меня носить только короткую тунику из белой шерсти, подпоясанную кожаным ремнем. Мне кажется, что если они так вырастут, то они потом будут спокойнее, чем мы.

Мельхиор: Да, я уверен в этом, Мориц. Но вот вопрос, если у девочек будут дети, что тогда?

Мориц: Как будут дети?

Мельхиор: В этом отношении я верю в известный инстинкт. Я думаю, что, если, например, кота и кошку запереть вместе и держать их без сношения с внешним миром, т. е. совершенно предоставить их собственным влечениям, — я думаю, что рано или поздно кошка родит. Хотя ни она, ни кот не видели примера, который открыл бы им глаза.

Мориц: У животных это, конечно, должно получиться само собой.

Мельхиор: У людей, я думаю, тем более. Послушай, Мориц, когда твои мальчики спят на одной постели с девочками

ми, и в них возникают первые половые возбуждения – я с кем угодно готов держать пари...

Мориц: Пусть в этом ты прав. Но, во всяком случае...

Мельхиор: У твоих девочек в соответствующем возрасте было бы так же! Не от того, что именно девочки. Конечно, наверное сказать нельзя... во всяком случае можно предположить... И любопытство не замедлило бы сделать свое дело.

Мориц: Кстати, один вопрос.

Мельхиор: Ну?

Мориц: А ты ответишь?

Мельхиор: Конечно!

Мориц: Правду?

Мельхиор: Вот тебе моя рука. Ну, Мориц?

Мориц: Ты уже написал сочинение?

Мельхиор: Да говори, не стесняйся. Ведь здесь никто не видит и не слышит нас.

Мориц: Само собою разумеется, мои дети целыми днями должны были бы работать во дворе или в саду или развлекаться играми, связанными с телесным напряжением. Они должны были бы ездить верхом, делать гимнастику, лазать, и, главное, не спать в таких мягких постелях, как мы. Мы ужасно изнежены. – Я думаю, что совсем ничего не увидишь во сне, если спать на жестком.

Мельхиор: Теперь я буду спать всегда, вплоть до сбора винограда, в моем гамаке. Я задвину мою кровать за печку. Она складная. – Прошлой зимой мне приснилось, я так долго

хлестал нашего Лоло, что он не мог пошевелиться. Это было самое страшное из всего, что мне когда-нибудь снилось. Что ты так странно смотришь на меня?

Мориц: Ты уже испытывал?

Мельхиор: Что?

Мориц: Как ты это называешь?

Мельхиор: Половое возбуждение?

Мориц: М-гм.

Мельхиор: Да.

Мориц: И я.

Мельхиор: Уже давно. Скоро год.

Мориц: Меня точно молния опалила.

Мельхиор: Ты видел во сне?

Мориц: Да, но совсем немного. Ноги в небесно-голубом трико. Они вздымались над кафедрой. Точнее сказать, мне показалось, что они перепрыгивали туда. Я видел их мельком.

Мельхиор: Георгу Циршницу снилась его мать...

Мориц: Он тебе это рассказывал?

Мельхиор: Там, на Гальгенштеге!

Мориц: Если бы ты знал, что я перенес с той ночи!

Мельхиор: Угрызения совести?

Мориц: Угрызения совести? Смертная тоска!

Мельхиор: Господи Боже!

Мориц: Я считал себя погибшим. Мне казалось, что я страдаю какую-то внутреннюю порчею. Наконец я успокоил-

ся только тем, что стал записывать свои впечатления. Да, да, милый Мельхиор, последние три недели были для меня, как Гефсиманская ночь.

Мельхиор: В свое время я более или менее ожидал этого.

Мориц: И при том, ты почти на целый год моложе меня!

Мельхиор: Ну об этом, Мориц, я и не подумал бы. По моим наблюдениям нет определенного возраста для того, чтобы впервые всплыл это фантом. Ты знаешь большого Лермейера с соломенно-желтыми волосами и с длинным носом? На три года старше меня. Гансик Рилов говорит, что ему до сих пор снятся только песочные пирожные и абрикосовое желе.

Мориц: Скажи, пожалуйста, как может Гансик Рилов судить об этом!

Мельхиор: Он его спросил.

Мориц: Он его спросил? – Я никогда не решился бы спросить кого бы то ни было.

Мельхиор: Да ведь меня спросил же.

Мориц: Ну, да! – Может быть, Гансик уже написал свое завещание. Право, странную игру затеяли с нами. И за это мы должны еще благодарить. Я не помню, чтобы когда-нибудь скучал по возбуждениям этого рода. Почему не дали мне спать спокойно, пока все не затихло бы? Мои милые родители могли бы иметь сотню детей получше. Но я появился, не знаю как, и должен отвечать за то, что и я здесь. – А ты, Мельхиор, не думал о том, каким собственно способом и мы затесались в эту толчею?

Мельхиор: Как, ты еще этого не знаешь, Мориц?

Мориц: Откуда мне знать? – Я вижу, что куры кладут яйца, я слышу, что будто бы моя мать носила меня под сердцем, но разве этого достаточно? Я вспоминаю, что уже пятилетним ребенком смущался, когда кто-нибудь открывал декольтированную червонную даму. Это чувство исчезло. И все-таки теперь я не могу говорить ни с одной девочкой, не думая при этом о чем-то отвратительном и, клянусь тебе, Мельхиор, не знаю о чем.

Мельхиор: Я скажу тебе все. – Я знаю это частью из книг, частью по иллюстрациям, частью по наблюдениям. Ты будешь ошеломлен: я в свое время стал атеистом. Я и Георгу Циршницу рассказал это! Георг Циршниц хотел рассказать Гансику Рилову, но Гансик Риллов научился всему еще ребенком у своей гувернантки.

Мориц: Я просмотрел Малый Мейер от А до Z. Слова, – ничего кроме слов и слов! Ни одного прямого объяснения! На что мне Энциклопедия, которая не отвечает на ближайшие жизненные вопросы?

Мельхиор: Ты видел когда-нибудь, как по улице бегут две собаки?

Мориц: Нет! Лучше не говори мне сегодня ничего, Мельхиор. У меня еще Центральная Америка и Людовик XV. Да еще шестьдесят стихов из Гомера, семь уравнений и латинское сочинение. Иначе мне и завтра придется на всем нарезать. Для того, чтобы с успехом зубрить, мне надо быть ту-

пым, как баран.

Мельхиор: Пойдем ко мне. В три четверти часа я пройду Гомера, решу уравнения, напишу два сочинения. В твоём я сделаю несколько невинных ошибок и дело в шляпе. Мама приготовит нам лимонад, и мы поболтаем мирно о размножении.

Мориц: Не могу мирно болтать о размножении. Если хочешь сделать мне одолжение, дай мне все это написанным. Напиши мне все, что ты знаешь. Напиши как можно короче и яснее, и завтра, во время гимнастики, всунь записку в мои книги. Я унесу ее домой, не зная, что она лежит там. Когда-нибудь я невзначай найду ее. Не могу удержаться и не прочитать ее утомленными глазами... Если это необходимо, ты можешь сделать на полях рисунки.

Мельхиор: Ты, как девушка. Впрочем, как хочешь. Для меня это очень интересная работа. Один вопрос, Мориц.

Мориц: Ну?

Мельхиор: Ты видел когда-нибудь девушку?

Мориц: Да!

Мельхиор: И совсем?

Мориц: Совершенно.

Мельхиор: Я тоже. Тогда иллюстрации не нужны.

Мориц: Во время праздника стрелков в анатомическом музее Мейлиха! Если бы это открылось, меня выгнали бы из школы. Прекрасна, как день, и ах, как похожа на живую!

Мельхиор: Нынче летом я был с мамой во Франкфурте. –

Ты уже уходишь, Мориц?

Мориц: Готовить уроки. – Спокойной ночи.

Мельхиор: До свидания.

## Сцена третья

(Теа, Вендла и Марта под руку идут по улице)

Марта: Как вода набирается в башмаки!

Вендла: Как ветер щиплет щеки!

Теа: Как сердце бьется!

Вендла: Пойдем к мосту! Ильза говорила, что по реке плывут кусты и деревья. Мальчики сделали плот. Мельхиор Габор, кажется, вчера вечером чуть не утонул.

Теа: О, он умеет плавать!

Марта: Еще бы!

Вендла: Если бы он не умел плавать, он наверняка утонул бы!

Теа: У тебя коса распускается, Марта, у тебя коса распускается!

Марта: Фу, – пусть распускается! Она злит меня и днем и ночью. С короткими волосами ходить, как ты, мне нельзя, с распущенными косами ходить, как Вендла, мне нельзя, подстричь их на лбу мне нельзя, даже и дома мне приходится делать прическу, – и все из-за теток.

Вендла: Завтра я принесу на Закон Божий ножницы. Пока ты будешь отвечать "Заповедь блаженства" я отрежу тебе волосы.

Марта: Ради Бога, Вендла! Папа избьет меня жестоко, а мама на три ночи запрет меня в чулан.



Вендла: Чем он бьет тебя, Марта?

Марта: Часто мне кажется, что им чего-то не хватало бы, если бы у них не было такой избалованной шалуньи, как я.

Теа: Полно, милая!

Марта: А тебе тоже нельзя было продернуть в рубашку голубую ленту?

Теа: Розовый атлас! Мама уверена, что к моим черным глазам больше всего идет розовое.

Марта: Мне удивительно шло голубое. – Мама стащила меня за косу с кровати. Так, – я упала на пол руками. – Мама каждый вечер молится с нами.

Вендла: На твоём месте я давно убежала бы от них.

Марта: Тогда бы они поняли. Что я теперь терплю! Тогда бы они поняли! Она еще увидит, – о, она еще увидит! – Моей матери, впрочем, я не должна делать упреков.

Теа: Ну, ну!

Марта: Можешь ли ты представить себе, Теа, что думала тогда моя мама?

Теа: Я – нет. А ты, Вендла?

Вендла: Я просто бы спросила ее.

Марта: Я лежала на полу и кричала, и выла. Тогда вошел папа. Трах! рубашка долой. Я – в дверь! Тогда бы они узнали! – Я хотела выбежать так на улицу.

Вендла: Но ведь это неправда, Марта!

Марта: Мне было холодно. Я вернулась. Всю ночь мне пришлось спать в мешке.

Теа: Спать в мешке я никогда не смогла бы.

Вендла: А я охотно поспала бы за тебя разик в твоём мешке.

Теа: Но ведь в нём можно задохнуться?

Марта: Голова остаётся наружу. Завязывают под подбородком.

Теа: И тогда тебя бьют?

Марта: Нет. Только если что-нибудь особенное случится.

Вендла: Чем тебя бьют, Марта?

Марта: Да что, – чем попало. – Твоя мама тоже считает неприличным есть хлеб в постели?

Вендла: Нет, нет.

Марта: Я думаю, что они мне все-таки рады, хоть и не говорят об этом. Когда у меня будут дети, они будут расти, как сорная трава в нашем саду. О ней никому нет печали, а она такая высокая и густая, между тем, как розы в клумбах у своих палочек каждый год цветут такие жалкие.

Теа: Когда у меня будут дети, я одену их во все розовое. Розовые шляпы, розовые платья, розовые башмаки. Только чулки – чулки черные, как ночь! Когда я пойду гулять, я пушу их маршировать передо мною. – А ты, Вендла?

Вендла: Разве вы знаете, что у вас будут дети?

Теа: А почему им у нас не быть?

Марта: Вот тети Ефимии их нет.

Теа: Глупая, ведь она не замужем.

Вендла: Тетя Бауер три раза была замужем и не имеет ни

одного ребенка.

Марта: Если у тебя будут дети, Вендла, кого ты хотела бы, мальчиков или девочек?

Вендла: Мальчиков, мальчиков!

Теа: И я мальчиков!

Марта: И я. Лучше двадцать мальчиков, чем три девочки.

Теа: Девочки несносные!

Марта: Если бы я уже не была девочкой, то сама ею не захотела бы стать.

Вендла: По-моему, это дело вкуса, Марта. Я каждый день радуюсь, что я девочка. Поверь, что я не поменялась бы и с королевским сыном. – А все-таки я хотела бы иметь только мальчиков!

Теа: Да ведь это глупость, Вендла!

Вендла: Ну пожалуйста, все-таки в тысячу раз лучше быть любимой мужчиной, чем девушкой!

Теа: Но ведь ты не будешь настаивать, будто бы лесничий Пфеле любит Мелиту больше, чем она его?

Вендла: Нет, больше, Теа! Пфеле горд, Пфеле гордится тем, что он лесничий, – ведь у него ничего нет. – Мелита рада тем, что она получает в десять тысяч раз больше, чем она сама стоит.

Марта: Разве ты не гордишься собою, Вендла?

Вендла: Это было бы глупо.

Марта: Как гордилась бы я на твоём месте!

Теа: Посмотри, Марта, как она идет, – как прямо смот-

рит, – как держится! – Уж если это не гордость...

Вендла: Ну так что же! Я так счастлива, что я – девочка; если бы я не была девочкой, я сейчас же покончила бы с собою.

(Мельхиор проходит мимо и здоровается).

Теа: У него удивительная голова.

Марта: Таким я представляю себе молодого Александра, когда он ходил в школу к Аристотелю.

Теа: Боже ты мой, греческая история! Я только и знаю, как Сократ лежал в бочке, когда Александр продавал ему ослиную тень.

Вендла: Он, кажется, третий ученик в классе.

Теа: Профессор Кнохенбург говорил, что он мог бы быть первым, если бы захотел.

Марта: У него красивый лоб, а у его друга взгляд задушевнее.

Теа: Мориц Штифель? – Вот ночной колпак.

Марта: Я всегда очень хорошо проводила с ним время.

Теа: С ним всегда только осрамишься. На детском балу у Рилова он предложил мне пралине. И представь себе, Вендла, – они были мягкие и теплые. Разве это не?.. – Он сказал, что долго держал их в кармане!

Вендла: Представь, Мельхи Габор сказал мне тогда, что он ни во что не верит, – ни в Бога, ни в тот свет, – решительно ни во что!

## Сцена четвертая

(Сад перед гимназией. – Мельхиор, Отто, Георг, Роберт, Гансик Рилов, Лемермейер).

Мельхиор: Не может ли кто-нибудь из вас сказать мне, куда девался Мориц Штифель?

Георг: Ему достанется! Ой, как ему достанется!

Отто: Он добьется того, что уж вляпается как следует.

Лемермейер: Чорт возьми, в этот момент я бы не хотел быть в его шкуре!

Роберт: Вот наглость! – Такое бесстыдство!

Мельхиор: Что, что? Что же вы знаете?

Георг: Что мы знаем? Ну я тебе скажу.

Лемермейер: Я не сказал бы.

Отто: Я тоже. Право нет.

Мельхиор: Если вы сейчас же...

Роберт: Коротко сказать, Мориц Штифель забрался в учительскую.

Мельхиор: В учительскую?

Отто: В учительскую. Сразу после латинского.

Георг: Он был последним; нарочно остался.

Лемермейер: Когда я шел по коридору, я видел, как он открывал дверь.

Мельхиор: Чтоб тебя!..

Лемермейер: Как бы его чорт не побрал!

Георг: Вероятно, ректор не вынул ключа.

Роберт: Или, может быть, Мориц Штифель принес отмычку.

Отто: От него этого можно ждать.

Лемермейер: Еще хорошо будет, если ему только придется остаться на воскресенье.

Роберт: Да еще замечание в свидетельство.

Отто: С такими отметками как бы и совсем не вылетел.

Гансик Рилов: Вот он.

Мельхиор: Бледный, как полотно!

(Мориц находится в крайнем возбуждении)

Лемермейер: Мориц, Мориц, что ты сделал!

Мориц: Ничего, – ничего.

Роберт: Ты дрожишь?

Мориц: От счастья, – от блаженства, – от сердечного веселья.

Отто: Тебя не поймали?

Мориц: Я перешел. – Мельхиор, – я перешел! – О, теперь хоть трава не расти! – Я перешел! – Кто бы мог подумать, что меня переведут! – Все еще в толк не возьму. Двадцать раз перечитывал это. – Но можно поверить, – о, Боже, – но это так! – Это так! Я перешел (Улыбаясь). Я не знаю, – мне так странно, – земля колеблется под ногами... Мельхиор, Мельхиор, если бы ты знал, что мне пришлось пережить!

Гансик Рилов: Поздравляю, Мориц. Радуйся, что отделался так легко.

Мориц: Ты и не знаешь, Гансик, ты и не догадываешься, что было поставлено на карту. Уже три недели я прокрадывался перед дверью, как перед адовой пастью. И вот сегодня вижу, – она приоткрыта. Я думаю, что если бы мне предложили миллион – ничто, о ничто не могло бы меня удержать. – Я в учительской, – я открываю журнал, – перелистываю, – нахожу, – и все это время... В дрожь бросает!

Мельхиор: Все это время?

Мориц: Все время дверь за стеною открыта настежь. – Как вышел, как сбежал по лестнице, – не знаю...

Гансик Рилов: И Эрнест Ребель тоже перешел?

Мориц: Конечно, Гансик, конечно! – Эрнест Ребель тоже перешел.

Роберт: Ну, так ты неверно прочитал. Не считая пары ослов, нас всех с тобою и Ребелем шестьдесят один; а в верхнем классе не может поместиться больше шестидесяти.

Мориц: Я прочитал совершенно верно. Эрнест Ребель также переведен, как и я, – оба, конечно, пока только условно. Только в первую четверть выяснится, кто из нас должен будет уступить место другому. – Бедняга Ребель! – Видит Бог! – Я уже не боюсь за себя. Для этого я заглянул уже слишком глубоко.

Отто: Держу пари на пять марок, что очистишь место ты.

Мориц: Да ведь у тебя ничего нет. Я не хочу тебя грабить. Господи Боже! Теперь-то я начну зубрить. – Вот когда я смогу сказать, – хотите верьте, хотите нет, теперь все равно –

я знаю, что это так: если бы меня не перевели, я бы застрелился.

Роберт: Хвастун!

Георг: Заячья душа!

Отто: Хотел бы я посмотреть, как ты стреляешь!

Лемермейер: За это пощечину!

Мельхиор (дает ему ее): Идем, Мориц. Пойдем к лесной сторожке.

Георг: Ты веришь его болтовне?

Мельхиор: Тебе то что! – Пусть они болтают, Мориц. Скорее, скорее же из этого города.

(Профессор Гунгергурт и Кнохенбурх проходят мимо).

Кнохенбурх: Для меня непостижимо, уважаемый коллега, как лучший из моих учеников может чувствовать влечение к самому плохому.

Гунгергурт: И для меня так же, уважаемый коллега.



## Сцена пятая

(Солнечный день. – Мельхиор и Вендла встречаются в лесу).

Мельхиор: Никак это ты, Вендла? – Что ты здесь делаешь одна? Уже три часа я брожу по лесу вдоль и поперек, ни души не встретил, и вдруг ты выходишь ко мне навстречу из самой дикой чащи.

Вендла: Да, это я.

Мельхиор: Если бы я не знал, что ты Вендла Бергман, я принял бы тебя за Дриаду, упавшую с ветвей.

Вендла: Нет, нет, я Вендла Бергман. – А ты как попал сюда?

Мельхиор: Задумался, да и зашел.

Вендла: Я собираю пахучую смолку. Мама хочет делать майтранк, но в самую последнюю минуту пришла тетя Бауер, а она не любит подниматься в горы, – И вот я пошла одна.

Мельхиор: Ты уже набрала своей пахучей смолки?

Вендла: Полную корзину. Вон там, под буками, она растет сплошь, как клевер. Теперь я все смотрю, где же дорога. Кажется, заблудилась. Ты, может быть, знаешь который теперь час?

Мельхиор: Уже больше половины четвертого. – Когда тебя ждут?

Вендла: Я думала, что теперь позже. Я так долго лежала у

Золотого ручья во мху и мечтала. Время прошло для меня так быстро, – я боялась, что уже наступает вечер.

Мельхиор: Если тебя еще не ждут, давай полежим здесь немного. Там под дубом мое любимое местечко. Если откинешь голову к стволу и сквозь ветки уставишься в небо, то это гипнотизирует. – Почва еще теплая от утреннего солнца. – Уже давно я хотел кое о чем спросить тебя, Вендла.

Вендла: Но к пяти часам мне нужно быть дома.

Мельхиор: Мы пойдем тогда вместе. – Я возьму корзину, и мы пойдем прямо сквозь чащу; через десять минут мы будем уже на мосту! – Когда уляжешься так, опершись лбом на руку, приходят тогда такие странные мысли в голову.

(Оба ложатся под дубом).

Вендла: Что ты хотел спросить у меня, Мельхиор?

Мельхиор: Я слышал, что ты, Вендла, часто ходишь к бедным. Приносишь им еду, платье и деньги. Ты это делаешь по своему собственному желанию, или тебя мать посылает?

Вендла: По большей части меня посылает мать. Это бедные семьи поденщиков, с кучею детей. Часто отец без работы и они мерзнут и голодают. У нас в шкафах и комодах лежит немало такого, что уже больше не нужно. – А почему ты об этом заговорил?

Мельхиор: Ты идешь охотно или неохотно, когда твоя мать посылает тебя куда-нибудь?

Вендла: О, еще бы! Мне это страх как нравится! – Как это ты так спрашиваешь?

Мельхиор: А дети-замарашки, женщины больные, в квартирах такая грязь, мужчины тебя ненавидят за то, что ты не работаешь.

Вендла: Это не так, Мельхиор! А если и так, ну и пусть, и тем лучше!

Мельхиор: Как тем лучше, Вендла?

Вендла: Для меня тем лучше. Мне было бы еще больше радости, если бы я могла таким помочь.

Мельхиор: Значит, ты ходишь к бедным людям для собственного удовольствия.

Вендла: Я хожу к ним потому, что они бедные.

Мельхиор: А не будь в этом для тебя никакой радости, ты бы и не стала ходить?

Вендла: Что ж мне делать, если меня это радует!

Мельхиор: Да еще за это же ты и в рай попадешь! – Значит, верно все, что уже целый месяц не дает мне покоя! – Виноват ли скряга, если ему нет радости в том, чтобы ходить к больным и грязным детям!

Вендла: О, тебя-то, наверное, это очень радовало бы.

Мельхиор: И за это ему суждена вечная смерть! – Я напишу об этом сочинение и подам его пастору Кальбауху. Это из-за него. Что он нам мелет о блаженстве жертвы! Если он не сумеет мне ответить, не пойду больше на катехизис и подтверждаться не стану.

Вендла: Ты хочешь огорчать твоих милых родителей. Конfirmироваться, от этого голова не отвалится. Если бы толь-

ко не наши ужасные белые платья и не ваши длинные панталоны, то это могло бы даже растрогать.

Мельхиор: Нет самопожертвований! Нет самоотречения! – Я вижу, как добрых радует их доброе сердце, я вижу, как злые трепещут и стонут. Я вижу тебя, Вендла Бергман, – твои кудри вьются и смеются, а мне грустно, как изгнаннику. – О чем ты мечтала, Вендла, когда лежала у Золотого ручья в траве?

Вендла: Глупости! Вздор!

Мельхиор: Грезила с открытыми глазами?

Вендла: Я мечтала, что я – бедная, бедная нищенка, рано утром, в пять часов меня погнали на улицу, мне пришлось целый день на ветру и под дождем просить милостыни у жестокосердных, грубых людей. И пришла вечером домой дрожа от холода и голода, и не было у меня столько денег, сколько требовал мой отец, – и меня били, били.

Мельхиор: Я это знаю, Вендла. Это из нелепых детских рассказов. Поверь мне, таких жестоких людей уже нет.

Вендла: О, Мельхиор! – Ты ошибаешься. – Марту Бессель бьют что ни вечер, так, что на другой день видны рубцы. О, что ей приходится выносить! Мочи нет слушать, когда она рассказывает! Страшно жалко, – я часто плачу о ней по ночам. Давно думаю, как ей помочь. – Я с радостью бы поняла неделю на ее месте.

Мельхиор: Надо просто пожаловаться на отца. Тогда у него возьмут ребенка.

Вендла: Я, Мельхиор, не была бита ни разу в жизни. С трудом представляю себе, как это – быть битой. Я уже сама себя била, чтоб испытать, что при этом бывает на душе. Это, должно быть, ужасное чувство.

Мельхиор: Я не верю, чтобы от этого ребенок становился лучше.

Вендла: От чего лучше?

Мельхиор: От того, что бьют.

Вендла: Вот этим прутом, например. Ух, какой он липкий, гладкий!

Мельхиор: Просечет до крови.

Вендла: Не ударишь ли ты им меня хоть разик?

Мельхиор: Кого?

Вендла: Меня.

Мельхиор: Что ты, Вендла!

Вендла: Да что же?

Мельхиор: Нет, уж, будь спокойна, – я тебя не ударю.

Вендла: Да если я тебе позволяю!

Мельхиор: Никогда!

Вендла: Но если я тебя об этом прошу, Мельхиор.

Мельхиор: В своем ли ты уме?

Вендла: Ни разу в жизни я еще не была бита.

Мельхиор: Если ты можешь просить об этом...

Вендла: Прошу – прошу

Мельхиор: Так я тебя выучу просить! (Бьет ее).

Вендла: Ах, Боже мой! – ни чуточки не больно.

Мельхиор: Если бы, – сквозь все твои юбки!

Вендла: Так бей же меня по ногам!

Мельхиор: Вендла! (Бьет ее сильнее).

Вендла: Ты меня только мажешь, – только мажешь!

Мельхиор: Подожди, ведьма, я выгоню из тебя чорта!

(Бросает прут в сторону и бьет Вендлу кулаками так, что она испускает страшный вопль. Это его не останавливает, он продолжает, как бешенный колотить ее, хотя крупные слезы струятся по его щекам. Вдруг он отскакивает, хватается руками за виски и, отчаянно рыдая, бросается в лес).

# Действие второе

## Сцена первая

Вечер. Комната Мельхиора. Окно открыто, на столе горит лампа. Мельхиор и Мориц сидят на диване.

Мориц: Теперь мне опять хорошо, только немного волнуюсь. – Но на греческом я спал, как пьяный Полифем. Удивительно, что старый Цунгеншлаг не надрал мне уши. – Сегодня утром я чуть не опоздал. – Первая моя мысль, когда я проснулся, были глаголы на (м.).

Господи Боже, чорт побери совсем, за чаем и всю дорогу я так спрыгал, что у меня в глазах зелено стало. – Заснул я, должно быть, уже после трех. Перо кляксу сделало на книге. Лампа коптила, когда Матильда разбудила меня. В кустах сирени под окном дрозд щебетал так радостно, – невыразимая меланхолия овладела опять мной. Я надел воротничок, волосы пригладил щеткой. – А чувствуешь свою силу, когда хоть сколько-нибудь поработаешь над собою!

Мельхиор: Может свернуть тебе папиросу?

Мориц: Спасибо, я не курю. – Только бы и дальше так шло. – Я хочу работать, работать, пока у меня глаза на лоб не вылезут. – Эрнест Ребель после каникул уже шесть раз не знал урока: три раза – греческий, два раза у Кнохенфуха, по-

следний раз по истории литературы. Я же попался всего пять раз; и с сегодняшнего дня этого больше не случится! – Ребель не застрелится. У Ребеля нет родителей, которые всем ему жертвовали. Он может, если захочет, стать поденщиком, ковбоем или матросом. Если я провалюсь, моего отца хватит удар, а мать сойдет с ума. Этого нельзя пережить. – Перед экзаменами я молил Бога, чтобы он послал мне чахотку, только бы эта чаша миновала меня. – И она прошла мимо, но я еще и теперь вижу вдали ее сияние и ни днем, ни ночью не смею поднять глаз. – Но все-таки я держусь крепко и уж теперь выберусь. В этом порукой мне неизбежный вывод, что я не могу упасть, не расшибив головы.

Мельхиор: Вся жизнь невыразимая пошлость. Я с удовольствием повесился бы. – Что же это мама не дает нам чаю!

Мориц: От твоего чаю мне станет лучше, Мельхиор! – Видишь, я дрожу. Я чувствую такое странное волнение. Пожалуйста, дотронься до меня. Я вижу, я слышу, я чувствую гораздо яснее, – но все это точно во сне, – и во всем такое возбуждение! – как там, в лунном сиянии, сад раскинулся такой тихий, такой глубокий, точно он уходит в бесконечность! – Из-под кустов выходят туманные тени, скользят на светлом в бездыханной суетливости и скрываются в полутьме. Мне кажется, под каштаном идет какое-то совещание. – Спустимся туда, Мельхиор.

Мельхиор: Сначала попьем чаю.

Мориц: Листья шепчут так вкрадчиво. Точно я слышу по-



койницу бабушку, как она рассказывает сказку о "королеве без головы". – Это была дивно красивая королева, хороша, как солнце, краше всех девиц в той земле. Только жаль, без головы она родилась. Она не могла ни есть, ни пить, не могла ни смотреть, ни смеяться, даже не могла целоваться. Она объяснялась со своими приближенными только с помощью своей маленькой нежной руки. Изящными ножками выстукивала она объявления войны и смертные приговоры. И вот, в один прекрасный день ее победил король, и так случилось, что у него было две головы; они все время спорили, так яростно, что не давали одна другой и слова вымолвить. Тогда обер-гоф-маг взял ту из них, которая поменьше, и приставил ее к королеве. И смотри, она пришлась впору. Потом женился король на королеве, и две головы уже не ссорились, но целовали одна другую в лоб, щеки, губы и жили еще долгие, долгие годы счастливо и в радости... Очаровательная нелепость! С самых каникул безголовая королева не идет у меня из головы. – Когда я вижу красивую девушку, я вижу ее без головы, – а потом вдруг кажусь сам себе безголовою королевою... Может быть, это мне приставят еще раз голову.

(Госпожа Габор входит с дымящимся чаем и ставит его на стол перед Морицем и Мельхиором).

Г-жа Габор: Вот, дети, пейте. – Добрый вечер, господин Штифель, как поживаете?

Мориц: Благодарю вас, госпожа Габор. – Я прислушиваюсь к хороводу там, внизу.

Г-жа Габор: Да у вас совсем нехороший вид! Вам нездоровится?

Мориц: Да как сказать! В последнее время немножко поздно ложился спать.

Мельхиор: Представь себе, он работает целыми ночами!

Г-жа Габор: Вы бы этого не делали, господин Штифель. Надо беречь себя. Подумайте о вашем здоровье. Школа не возвратит вам здоровья. Ходите прилежно гулять на свежем воздухе! Это в ваши годы важнее, чем правильный немецкий.

Мориц: Я буду много гулять. Вы правы. Можно быть прилежным и на прогулках. Как это я сам не набрел на эту мысль! – Письменные работы все-таки придется делать дома.

Мельхиор: Письменные ты у меня делай, так будет нам обоим легче. – Ведь ты знаешь, мама, что Макс фон Тренк умер от нервной горячки? – Сегодня днем приходит Гансик Рилов от смертного одра Тренка к ректору Зоненштиху заявить, что Тренк умер на его глазах. – "Так? – сказал Зоненштих, – ты еще с прошлой недели не досидел двух часов. Вот записка к педелю. Пора это дело окончить. Весь класс примет участие в погребении" Гансик так и скис.

Г-жа Габор: Что это у тебя за книга, Мельхиор?

Мельхиор: "Фауст".

Г-жа Габор: Ты уже прочел?

Мельхиор: Еще не до конца.

Мориц: Мы дошли до Вальпургиевой ночи.

Г-жа Габор: На твоём месте я подождала бы с "Фаустом" ещё годик или два.

Мориц: Я не знаю ни одной книги, мама, в которой нашёл бы так много красивого. Отчего мне нельзя её читать?

Г-жа Габор: Потому что ты не поймёшь её.

Мельхиор: Ты этого не можешь знать, мама. Я очень хорошо чувствую, что ещё не в состоянии постичь это произведение во всей его глубине...

Мориц: Мы всегда читаем вдвоем, это чрезвычайно облегчает понимание.

Г-жа Габор: Ты уже настолько вырос, Мельхиор, чтобы понимать, что тебе полезно и что вредно. Я первая была бы тебе благодарна, если бы ты никогда не давал мне повода тебя в чём-нибудь останавливать. – Я хотела обратить твоё внимание только на то, что и самое лучшее может повредить, если ещё не настолько зрел, чтобы правильно понять. Но всё-таки я охотнее поверю тебе, чем каким бы то ни было правилам воспитания. – Если вам, дети, что-нибудь понадобится, так ты, Мельхиор, выйди и позови меня. Я буду в своей спальне.  
(Уходит).

Мориц: Твоя мама думала об истории с Грехом.

Мельхиор: Но разве мы хоть на минуту остановились на ней?

Мориц: Сам Фауст не мог бы отойти от неё спокойнее.

Мельхиор: Как будто здесь нет ничего, кроме этой мерзости! – Фауст мог бы обещать девушке, что женится на ней,

мог бы и так бросить, – он не был бы в моих глазах ни на волос ни лучше, ни хуже. Гретхен, по-моему, могла бы умереть от разбитого сердца. Видишь, как всякий субъективно обращает свой взор именно на это, – можно подумать, что весь мир вокруг этого вертится.

Мориц: Откровенно сказать, Мельхиор, у меня, в самом деле, есть это чувство с тех пор, как я прочитал твою записку. – На каникулах, в один из первых дней, она упала к моим ногам. – Я запер дверь на задвижку, и у меня рябило в глазах, когда я пробежал эти строки. Так быстро промчался по ним, как испуганная сова через пылающий лес. – Мне кажется, будто бы многое я прочитал с закрытыми глазами. Как ряд смутных воспоминаний звучат в моих ушах твои объяснения, как песня, которую мурлыкал радостно в детстве, и которую опять услышал с замиранием сердца из чужих уст, умирая. – Такое горячее сострадание вызвало во мне то, что ты написал о девушках. Я не мог освободиться от этого впечатления. Поверь мне, Мельхиор, несправедливость терпеть слаще, чем несправедливость совершать. Невинно претерпеть такую сладкую, свершенную над тобой несправедливость, – это кажется мне верхом всех земных блаженств.

Мельхиор: Блаженство как подаяние мне не нужно.

Мориц: Почему же не нужно?

Мельхиор: Я хочу только, что берется с бою.

Мориц: Разве это наслаждение, Мельхиор?! – Девушка, Мельхиор, наслаждается, как блаженные боги. Девушка за-

щищена благодаря своим свойствам. До последнего мгновения она защищена от всякой горечи, и вдруг все небеса раскрываются над нею. Девушка боится ада уже в тот момент, когда еще перед нею цветущий рай. Ее чувство свежее ключа, бьющего из камня. Девушка поднимает бокал, которого не касалось земное дыхание, – чашу нектара, – и выпивает горящий и пламенеющий напиток. Удовлетворение, получаемое при этом мужчиною, кажется мне пресным и скучным.

Мельхиор: Представляй его как хочешь, но оставь его для себя. – Я не хочу думать о нем...

## Сцена вторая

(Комната)

Госпожа Бергман (в шляпе и мантилье, с корзиною в руках, входит с радостным лицом в среднюю дверь): Вендла! Вендла!

Вендла (в нижней юбке и в корсете входит из боковой двери справа): Что, мама?

Госпожа Бергман: Ты уже встала, дитя? – Вот это хорошо!

Вендла: Ты уже была на улице?

Госпожа Бергман: Ну, одевайся же! – Сейчас пойдешь к Ине. Отнесешь ей эту корзину!

Вендла (одевается в продолжение последующего разговора): Ты была у Ины? – Ну, что она? Ей все еще не лучше?

Госпожа Бергман: Представь себе, Вендла, нынче ночью у нее был аист и принес ей маленького мальчика.

Вендла: Мамочка! – Мамочка! – Это прелестно! – Вот от чего такая продолжительная инфлюэнция!

Госпожа Бергман: Великолепного мальчика!

Вендла: Я должна видеть его, мама! – Вот я стала третий раз тетей тетей одной девочки и двух мальчиков.

Госпожа Бергман: И каких мальчиков! Это всегда так бывают, если живут близко к церковной кровле. – Еще недавно исполнилось три года, как она венчались.

Вендла: Ты там была в то время, как он его принес?

Госпожа Бергман: Он только что улетел. – Не хочешь ли приколоть розу?

Вендла: Что же ты не пришла туда пораньше, мама?

Госпожа Бергман: Мне кажется, что он принес что-нибудь и тебе – брошку или что...

Вендла: Как досадно, право!

Госпожа Бергман: Я же тебе говорю, что он тебе принес брошку!

Вендла: Достаточно у меня брошек!..

Госпожа Бергман: Ну и будь довольна, дитя. Чего же тебе еще надо?

Вендла: Мне страшно хотелось бы знать, – как он влетает, в окно или в трубу?

Госпожа Бергман: Так спроси у Ины. Да, мое сердечко, это ты спроси у Ины! Ина это тебе скажет верно. Ина говорила с ним целые полчаса.

Вендла: Спрошу у Ины, когда приду к ней.

Госпожа Бергман: Да, не забудь, мой ангел миленький! Мне самой интересно знать, он попал в окно или в трубу.

Вендла: Не лучше ли спросить у трубочиста? Трубочист лучше всех знает влетает аист в трубу или нет.

Госпожа Бергман: Только не трубочист, дитя, только не трубочист! Что знает трубочист об аисте? Он наплетет тебе всякого вздора, в который он и сам не верит... Ну что ты так глазеешь на улицу?

Вендла: Мужчина, мама, в три раза больше быка! – С но-

гами, как пароходы!..

Госпожа Бергман (выглядывая в окно): Невозможно!.. Не может быть!

Вендла (быстро): У него в руках кровать, – он играет на ней "Страну на Рейне"... вот, вот он свернул за угол...

Госпожа Бергман: Как была ты, так и осталась совершенным ребенком! Нагнать такого страха на свою простодушную мать! – Иди, возьми шляпу. Я удивляюсь, когда ты, наконец, поумнеешь. – Я потеряла надежду.

Вендла: Да и я, маменька, и я. С моим умом что-то не ладно. – Вот у меня сестра уже два с половиной года за мужем, и я сама уже три раза стала тетей и все-таки еще не имею понятия, как происходит это... Не сердись, мамочка, не сердись. Кого же спрашивать мне, кроме тебя! Пожалуйста, милая мама, скажи мне это. Скажи мне это, дорогая мамочка. – Мне самой себя стыдно. Пожалуйста, мама, говори, не брани меня. Не брани меня, что я спрашиваю об этом. Ну ответь, как это делается? – Как это все происходит? Ведь ты не можешь требовать от меня, чтобы я серьезно верила в аиста.

Госпожа Бергман: Боже мой, дитя, какая ты странная! – Что у тебя за выдумки! – Правда. Я не могу.

Вендла: Почему же, мама! Почему же? – Ведь это не может быть скверным, если все этому радуются?

Госпожа Бергман: Боже сохрани! – Это мне поделом. – Иди одевайся, девочка, одевайся!

Вендла: Я иду... А что, если девочка пойдет и спросит у



трубочиста?

Госпожа Бергман: Ну, с тобою сойдешь с ума! – Иди, дитя, иди, я скажу тебе это! Я скажу тебе все! О, милосердный Боже! – Только не сегодня, Вендла. – Завтра, послезавтра, на будущей неделе, если ты все еще будешь хотеть, сердце мое...

Вендла: Скажи мне сегодня, мама, скажи сейчас. Сию минуту. – Раз что ты так волнуешься, конечно я не могу успокоиться.

Госпожа Бергман: Я не могу, Вендла.

Вендла: Почему же ты не можешь, мамочка! – Смотри, я стану на колени у твоих ног и спрячу голову в твой подол. Закрой меня с головой твоим передником и рассказывай, и рассказывай, как будто в комнате ты одна-одинешенька. Я не вздрогну; я не буду кричать, я стерплю, что бы там ни было.

Госпожа Бергман: Видит Бог, Вендла, что я не виновата. Бог видит мою душу. – Иди, ради Бога. – Я расскажу тебе, как появилась ты на свет. – Ну, слушай меня, Вендла.

Вендла (под ее передником): Я слушаю.

Госпожа Бергман (в экстазе): Но ведь нельзя же, малютка! Я не могу ответить тебе. – Я стою того, чтобы меня посадить в тюрьму, чтобы у меня отняли тебя...

Вендла (под ее передником): Соберись с духом, мама!

Госпожа Бергман: Ну, слушай же...

Вендла (под ее передником, дрожа): Господи! Господи!

Госпожа Бергман: Чтобы иметь ребенка, – ты понимаешь

меня, Вендла?

Вендла: Скорее, мама, я не вынесу.

Госпожа Бергман: Чтобы иметь ребенка нужно мужа, за которым замужем... любить..., понимаешь, как любят только мужа. Его надо любить от всего сердца, как... как нельзя сказать. Его надо любить, Вендла, как ты в твои годы совсем еще не можешь любить. Теперь ты знаешь...

Вендла (поднимаясь): Господи, Царь небесный!

Госпожа Бергман: Теперь ты знаешь, какие испытания тебе готовятся!

Вендла: И это все?

Госпожа Бергман: Ей Богу! – Ну, возьми же корзину и иди к Ине. Тебе там дадут шоколаду и пирожного. – Подойди, я еще раз взгляну на тебя, – ботинки, шелковые перчатки, матроска, розы в волосах... А твоя юбочка стала тебе уже в самом деле коротка, Вендла.

Вендла: А мясо к обеду ты уже принесла, мамочка?

Госпожа Бергман: Спаси и сохрани тебя Господь! – Потом я подошью тебе пальца на четыре воланов.

## Сцена третья

Гансик Рилов (со свечкой в руке закрывает за собой дверь, и потом открывает крышку): Помолилась ли ты на ночь, Дездемона?

(Вынимает из-за пазухи репродукцию Венеры Пальмы Векчио).

Ты не возбуждаешь во мне молитвенного настроения, как в то чудное мгновенье рождающегося блаженства, когда я увидел тебя в витрине у Ионафана Шлезингера, – так же сводят с ума эти гибкие члены, эти нежные изгибы бедер, эта девственно-упругая грудь, – о, как был опьянен счастьем великий художник, когда он видел перед собою распростертую на диване четырнадцатилетнюю модель!

Будешь ли ты иногда посещать меня во сне? – С распростертыми объятиями приму я тебя, я задушу тебя поцелуями. Ты придешь ко мне, как госпожа в свой запустелый замок. Ворота и двери откроются невидимую рукою, в парке снова начнет радостно журчать фонтан...

Так надо! Так надо! – Страшное биение в груди моей говорит, что не легкая похоть побуждает меня к убийству. Горло сжимается при мысли об одиноких ночах. Клянусь душой, дитя, не пресыщение овладело мною. Кто бы мог гордиться, что тобою пресытился?..

Но ты высасываешь мозг костей моих, ты сгибаешь мою

спину, ты стираешь последний блеск с моих юных глаз. Нечеловечески умеренная, ты так много требуешь от меня, – ты утомляешь меня неподвижностью твоего тела. – Ты или я! – И побеждаю я!

Если бы я хотел пересчитать всех, с кем вел я здесь такую же борьбу! Психея Туманна, наследие тощей, как веретено, m-Пе Анжелики, эти змеи в раю моего детства; Ио Корреджио; Галатея Лоссова; потом Амур Булло, Ада ван-Берса, которую мне пришлось похитить у отца из секретного ящика, чтобы присоединить к своему гарему; судорожно вздрагивающая Леда Маккарта, которую я нашел случайно в учебниках брата, – шесть вступили на дорогу в ад раньше, чем ты, юная обручница смерти. Пусть это будет утешением тебе, не увеличивай своим страдающим взглядом страданий моих до чрезмерности. Ты умрешь не за свой грех, ты за мой грех умрешь. – Спасая себя, с обливающимся кровью сердцем совершаю я убийство седьмой жены. Есть нежно трагическое в роли Синей Бороды. Я думаю, что все его убитые жены вместе не выстрадали того, что перенес он, убивая одну.

Совесь моя успокоится, тело окрепнет, когда ты, дьяволица, перестанешь обитать на красных шелковых подушках моей шкатулки. Вместо тебя я приведу сюда, в роскошные покои, Лорелею Боденгаузена, или Покинутую Лингера, или Лони Дефреггера. – Тогда я скоро оправлюсь. Еще четверть годика, пожалуй, и твое обнаженное целомудрие, по-

добно непорочности Иосифа, начало бы истощать мой бедный мозг, как солнце растопляет глыбу масла. – Пора отучить тебя от моего стола и ложа.

Бррр... – я чувствую в себе корону Гелиогобала. *Moritura me salutat.* Дева, дева, зачем сжимаешь ты свои колени? – Перед лицом непостижимой вечности. – Одно только движение, – и я освобожу тебя. – Одно женственное возбуждение, один знак желания любви, дева. Я сделаю для тебя золотую раму. Я повешу тебя над моею кроватью. – Разве ты не чувствуешь, что только чистота твоя рождает мою порочность? – Горе, горе бесчеловечным.

– Каждый раз замечаешь, что она получила образцовое воспитание. – Я тоже.

Помолилась ли ты на ночь, Дездемона?

Сердце сжимается – глупость. – И святая Агнесса умерла от своей скромности, а она не была даже на половину так обнажена, как ты. – Еще раз поцелую твое цветущее тело, твою детски трепещущую грудь, твои сладостно-округленные, твои страшные колени...

Так надо, так надо, сердце мое!

Пусть она не называет вас меня, чистые звезды. – Так надо. -

(Картина падает из его рук в глубину; он закрывает крышку).

## Сцена четвертая

Сеновал. Мельхиор лежит на спине в свежем сене. Вендла взбирается по лестнице.

Вендла: Ты куда спрятался! Все тебя ищут. Телега уже уехала. Ты должен помогать. Будет буря.

Мельхиор: Уйди от меня! Уйди от меня!

Вендла: Что с тобой? Что ты прячешь лицо?

Мельхиор: Прочь! Прочь! – Я сброшу тебя на ток.

Вендла: А вот и не уйду – (становится подле него на колени). – Почему ты не сошел вместе с нами на луг, Мельхиор? – Здесь так душно, темно. Если мы и промокнем, ну так что же нам сделается!

Мельхиор: Сено пахнет так дивно. – Небо, наверное, черное, как похоронный покров. – Я вижу только мак, на твоей груди светится, – и твое сердце слышу, как бьется...

Вендла: – Не целуй, Мельхиор. – Не целуй.

Мельхиор: – Твое сердце, – слышу, как бьется...

Вендла: – Влюбляются, когда целуются. – Нет, нет! -

Мельхиор: О, поверь мне, нет любви. – Все – своекорыстие и эгоизм. – Я люблю тебя так мало, как и ты меня.

Вендла: – Нет – нет, Мельхиор!

Мельхиор: – Вендла!

Вендла: О, Мельхиор! – нет – нет. -

## Сцена пятая

Госпожа Габор, (сидит и пишет).

Любезный господин Штифель!

С тяжелым сердцем берусь я за перо после того, как целый день много думала о вашем письме. Достать вам денег на переезд в Америку, уверяю вас, я не смогу. Во-первых, я не располагаю такою большою суммою, во вторых, если бы я ее и имела, было бы величайшим грехом снабдить вас средствами для совершения необдуманного поступка, который повлечет за собою серьезные последствия. Горькую несправедливость совершили бы вы, господин Штифель, если бы увидели в моем отказе недостаток любви. Наоборот, я дружески, как мать, расположенная к вам, очень сильно нарушила бы мой долг, если бы решилась на это, под влиянием вашей временной растерянности, если бы я потеряла голову и слепо подчинилась своему первому побуждению. Я охотно напишу вашим родителям, если вы пожелаете. Я постараюсь убедить их, что в эту четверть вы сделали все, что могли, что вы очень утомились, так что строгое отношение к вашей неудаче не только не справедливо, но и в высшей степени вредно для вашего духовного и телесного развития.

Ваши намеки на то, что вы лишите себя жизни, если вам нельзя будет бежать, откровенно говоря, господин Штифель, меня несколько удивили. Пусть несчастье будет совершенно

незаслуженным, все-таки некогда нельзя прибегать к нечистым средствам. Способ, которым вы хотите меня, которая всегда желала вам добра, сделать ответственной за ваш поступок, мог бы недоброжелательному человеку показаться вымогательством. Должна сознаться, что от вас я меньше всего могла ожидать подобного поступка. Впрочем, я уверена, что вы находились под первым впечатлением страха и не могли спокойно обдумать ваше положение.

Я надеюсь, что эти мои слова застанут вас в более спокойном настроении. Старайтесь видеть дело таким, как оно есть. По-моему, нельзя о молодом человеке судить по его школьным отметкам. Перед нами много примеров, когда очень плохие ученики становились отличными людьми и, наоборот, прекрасные ученики в жизни себя проявляли не особенно хорошо. Во всяком случае, уверяю вас, что несчастье ваше не повлияет, на сколько это зависит от меня, на ваши отношения с Мельхиором. Мне всегда было приятно, что мой сын сошелся с молодым человеком, который, – что бы о нем ни думали, – сумел заслужить мои симпатии.

Поднимите же голову, господин Штифель! – каждому из нас приходится бывать в критическом положении, но мы должны быть стойкими. Если бы каждый тотчас хватался за нож или за яд, на земле, конечно, совсем скоро не осталось бы людей. Дайте скорее знать о себе и примите сердечный привет от любящей вас, как мать и друг.

Фанни Г.



## Сцена шестая

Сад Бергман, залитый утренним солнцем.

Вендла: – Зачем ты улизнула из комнаты? Искать фиалок. – Потому что мать видит, как я улыбаюсь. – Что ты ходишь с открытым ртом? – Я не знаю, я не нахожу слов. Дорога, как ковер, – ни камешка, ни сучка. – Земли под ногами не слышу! – О, как спала я ночью! Здесь стояли они. – Я стала серьезной, как монахиня за вечерней. – Милые фиалки! – Будь покойна, мамочка. Я надену хламиду. – Господи, хоть бы пришел кто-нибудь, чтобы я могла броситься ему на шею и рассказать!..

## Сцена седьмая

Вечерние сумерки. Небо приоткрыто облаками. Дорога вьется сквозь низкий кустарник и осоку. Невдалеке слышится шум реки.

Мориц: Хорошо! Я к ним не гожусь! Так пусть они лезут друг другу на шею. – Я закрываю за собою дверь и выхожу на волю.

Я не навязывался. Для чего же мне навязываться теперь? У меня нет договора с Богом. Пусть делают, что хотят, а я... меня вынудили. – Родителей я не виню. Но они все таки должны были ожидать самого худшего. Им пора было знать, что они сделали. Я появился на свет неразумным младенцем, – иначе я, конечно, был бы умнее и стал бы другим. – Почему я должен отвечать за то, что другие уже были здесь?

Я, наверно, глуп... подари мне кто-нибудь бешеную собаку, я возвращу ее обратно. А если он не захочет взять назад свою бешеную собаку, – я – человек, я...

Я, наверно, глуп...

Рождаются совершенно случайно и, по здравому размышлению... да, лучше застрелиться! – Хоть погода оказывается порядочной. Целый день собирается дождь, а вот теперь разъяснило. – В природе царит такая редкая тишина. Ничего резкого, возбуждающего. Небо и земля точно прозрачная паутина. И все кажется таким приятным. Ландшафт такой

милый, как колыбельная песня: "Королевич мой, усни", – как пела Снандулия. Жаль, что она не грациозно держит локти. – Последний раз я танцевал в день святой Цицилии. – Снандулия танцует только с теми, кто ей партия. Ее шелковое платье было вырезано сзади и спереди, – сзади до пояса, а спереди до умопомрачения. – Рубашки на ней, верно, не было. – вот это еще могло бы захватить меня. – Больше как курьез. – Это должно быть странным ощущением, – чувство, точно уносишься по речной быстрине. – Я там никому не скажу, что вернулся не испытав этого. Я буду держать себя так, точно все это проделал... Есть что-то позорное – быть человеком и не познать самого человеческого. – Вы из Египта, милостивый государь, и не видели пирамид...

Сегодня я не буду больше плакать. Я больше не буду думать о своем погребении. Мельхиор возложит на мой гроб венок, Пастор Кальбаух будет утешать моих родителей. Ректор Зонненштих приведет пример из истории. Надгробного камня у меня, вероятно, не будет. Я хотел бы иметь белую, как снег мраморную урну на черном цоколе из сиенита, – но обойдусь без нее. Памятники для живых, а не для мертвых.

Мне нужен был целый год, чтобы мысленно распрощаться со всеми. Я не буду больше плакать. Я так рад, что могу оглянуться назад без горечи. Сколько прекрасных вечеров провел я с Мельхиором! Под ивами на берегу; у лесной сторожки; на большой дороге за городом, где стоят пять лип; на замковой горе среди чутких развалин Руненбурга. – Когда

настанет мой час, я буду думать о битых сливках. Битых сливок не жаль. Они засоряют желудок, хотя и оставляют приятный вкус... И о людях я думал бесконечно хуже. Я не нашел ни одного, кто не стремился бы к своему благу. Многим я сочувствовал ради себя самого. Я восхожу на алтарь, как юноша древней Этрурии, последний вздох которого покупал благополучие братьев в наступающем году. – Я медленно вкушаю таинственный ужас отрешения. Я рыдаю от тоски, думая о моем жребии. Жизнь отвертывается от меня. А из-за ее холодного плеча истинно-дружеские зовут меня взоры: безголовая королева, – сочувствие, ожидающее меня с нежными объятиями... Ваши заповеди для незрелых; у меня свободный пропуск. Кокон раскроется, – мотылек упорхнет; призрак не беспокоить. – Вы не смеете вести сумасбродную игру! Туман рассеивается; жизнь – дело вкуса...

Ильза (в оборванном платье, с пестрым платком на голове, хватая его сзади за плечи): Что ты потерял?

Мориц: Ильза!

Ильза: Что ты ищешь?

Мориц: Зачем ты так меня пугаешь?

Ильза: Что ты ищешь? – Что потерял?

Мориц: Зачем же ты так ужасно пугаешь меня?

Ильза: Я из города. – Иду домой.

Мориц: Не знаю, что я потерял...

Ильза: Тогда поиски не помогут.

Мориц: Чорт возьми! Чорт возьми!

Ильза: Уже четыре дня я не была дома.

Мориц: – Беззвучно, как кошка!

Ильза: Потому что на мне большие башмаки. – Вот то мать рассердится! Пойдем вместе к нам.

Мориц: Где ты была?

Ильза: В Приапии.

Мориц: В Приапии?

Ильза: У Ноля, у Ферендорфа, у Падинского, у Ленца, Ранка, Шюлера, у всех.

Мориц: Они пишат тебя?

Ильза: Ферендорф пишет меня святою. Я стою на коринфской капители. Ферендорф, знаешь, это такая размазня... Недавно я раздавила ему трубку с краской. Он ткнул меня в волосы кистью. Я отвечаю ему оплеухой. Он бросает мне в голову палитру. Я роняю мольберт. Он гоняется за мной с палитрой по всему ателье, через стол, по стульям. За печью лежал этюд, – "не дури, а то разорву". Помирился, а потом так расцеловал меня, так расцеловал!

Мориц: Где ты ночуешь, когда остаешься в городе?

Ильза: Вчера я была у Ноля, – Третьего дня у Бойкевича, – в воскресенье у Эйконопуло. У Падинского было шампанское, – Валабрениц продал своих чумных. Адолар пил из пеельницы, Ленц пел, и Адолар сломал гитару. Я была так пьяна, что им пришлось уложить меня спать. – Ты все еще в школе, Мориц?

Мориц: Нет, нет... В эту четверть я выхожу.

Ильза: Это дело. Ах, как бежит время, когда зарабатываешь деньги! Помнишь, как мы играли в разбойники? – Вендла Бергман, и ты, и я, и другие, когда вы по вечерам приходили пить к нам парное козье молоко? – Что делает Вендла? Я видела ее последний раз во время разлива реки. – А Мельхиор Габор что делает? Он все еще такой же серьезный? – На уроках пения мы стояли друг против друга.

Мориц: Он философствует.

Ильза: Вендла иногда приходила к нам и приносила матери варенье. – Днем я сидела у Исидора Ландаура. Я нужна ему для пресвятой Марии, Матери Божьей, с Христом Младенцем. Он отвратительный простофиля. У! Как петух на флюгере! – Ты пил? Тебя тошнит?

Мориц: С вчерашнего вечера! – Мы пили, как крокодилы. Я вернулся домой в пять часов.

Ильза: Да, на тебя стоит только взглянуть. – И девушки были?

Мориц: Арабелла, пивная нимфа, андалузка. Хозяин оставил нас всех с нею на всю ночь.

Ильза: Да, на тебя стоит только взглянуть, Мориц! – А меня никогда не тошнит. Прошлую масляницу я три дня и три ночи не раздевалась и не ложилась спать. С маскарада в кафе, днем в Беллависта, вечером танцы, ночью маскарад. Лена была и толстая Виола. – В третью ночь меня нашел Генрих.

Мориц: Разве он тебя искал?

Ильза: Он споткнулся о мою руку. Я лежала без памяти в лесу, на улице. – Так то я попала к нему. Две недели я не выходила из его дома. – О, это ужасное время! – По утрам мне приходилось набрасывать на себя его персидский халат, а по вечерам расхаживать по комнатам в черном костюме паж. Вокруг шеи, у колен и у рукавов – белые кружева. Каждый божий день он фотографировал меня в разных позах, – раз на кушетке, как Ариадну, раз, как Леду, раз, как Ганимеда, а то раз на четвереньках, как женщину-Навуходоносора. И все то время мечтал о самоубийствах, об убийствах, о выстрелах, о жаровнях. По утрам он брал в постель револьвер, заряжал его и приставлял к моей груди. – "одно движение, и я стреляю". О, он бы выстрелил, Мориц, он бы выстрелил! – Потом он брал дуло револьвера в рот, как трубку. Это будит инстинкт самосохранения. – Бррр... пуля бы пробила меня насквозь.

Мориц: Генрих еще жив?

Ильза: Откуда мне знать! – Над кроватью в потолке было громадное зеркало. Комната казалась высокой, как башня, и светлой, как театр. Казалось, что ты свешиваешься с неба. Ужасные сны снились мне по ночам. Боже мой, хоть бы скорее настал день! – Покойной ночи, Ильза. Когда ты спишь, ты так прекрасна, что хочется тебя убить.

Мориц: Этот Генрих еще жив?

Ильза: Нет. Воля Господня! – Как-то раз пошел он за абсентом, – я набросила на себя мантилью и улизнула на улицу.

Масляница давно кончилась, полиция хватает меня, – "что ты в мужском платье?" – Отвели меня на гауптвахту. Тут пришли Ноль, Ферендорф, Падинский, Шпюлер, Эйконопуло, вся Приапия, и поручились за меня. Привезли меня в фиакре в ателье Адолара. С тех пор я верна этой орде. Ферендорф – обезьяна, Ноль – свинья, Бойкевич филин, Лоазон – гиена, Эйконопуло – верблюд. – Потому я люблю их всех поровну и ни к кому другому не пошла бы, хотя бы весь мир состоял бы из одних архангелов и миллионеров!

Мориц: Мне домой пора, Ильза.

Ильза: Дойдем до нашего дома!

Мориц: Зачем? – Зачем?

Ильза: Пить парное козье молоко! – Я завью тебе локоны, колокольчик на шею повешу. У нас и козленочек есть, – ты с ним можешь поиграть.

Мориц: Мне домой пора. – На моей совести еще Сасанида, нагорная проповедь... параллелепипед. – Покойной ночи, Ильза.

Ильза: Приятных снов. – Вы, конечно, еще ходите к вигваму, где Мельхиор Габор зарыл мой томагавк? – Бррр!.. Да что я тут с тобою, – я вся в грязи!

(Торопливо уходит).

Мориц (один): Достаточно одного бы только слова... (зовет) – Ильза! Ильза. Слава Богу, не слышит.

Я не так настроен. – Для этого нужна свежая голова и радостное сердце. – Жаль, жаль прозевал.



... Я буду рассказывать, что над моею кроватью висело огромное хрустальное зеркало, – что я был несдержанно страстен, – что я заставлял ее проходить передо мною по коврам в длинных, черных шелковых чулках, в черных лакированных ботинках, в длинных черных перчатках с черной бархоткой вокруг шеи, – что в припадке исступленья я задушил ее подушкой, – я буду смеяться, когда заговорят о сладострастии... я буду – кричать! – я буду – кричать! Ильза! – Приапия! – Безумие! – Это меня обессиливает. – Это – дитя счастья, это – дитя солнца, – это – дева радости на моем горестном пути! – О! – О! –

(У придорожного кустарника).

Вот я снова невольно нашел ее, – дерновую скамью. Царские кудри со вчерашнего дня, кажется, еще выросли. За ивами все тот же вид. – Вода в реке движется тяжело, как расплавленный свинец. – Да, как бы не забыть.

(Вынимает из кармана письмо г-жи Габор и сжигает его).

Как перебегают искры – туда и сюда, вдоль и поперек – души! – падающие звезды!

Перед тем, как я зажег бумагу, видна была трава и полоса горизонта. Теперь стало темно. Теперь уж я не пойду домой.

# Действие третье

## Сцена первая

(Учительская. – На стенах портреты Песталоцци и Жан-Жака Руссо. Вокруг стола, покрытого зеленым сукном, над которым горит несколько газовых ламп, сидят профессора Аффеншмальц, Кнюппельдик, Гунгергурт, Кнохенбурх, Цунгеншлаг, Флигентод. На главном месте, в высоком кресле ректор Зонненштих. Сторож Габебальд у двери).

Зонненштих: Господа, не угодно ли кому-нибудь сделать еще какие-нибудь замечания? – Господа! – Если мы вынуждены ходатайствовать перед министерством народного просвещения об исключении нашего ученика, то это обусловлено важными причинами. Мы не можем уклониться от этого, потому что должны загладить уже свершившееся несчастье, потому что должны обеспечить наше заведение от подобных ударов в будущем. Не можем и потому, что должны покарать нашего порочного ученика за деморализующее влияние, оказанное им на своего товарища по классу; и наконец, потому, что должны воспрепятствовать его влиянию на остальных соучеников. Мы не можем – и это, господа, самое важное основание – потому, что должны охранять наше заведение от опустошительной эпидемии самоубийств, ко-

торая охватила уже многие гимназии и которая насмехается над всеми усилиями просвещенных педагогов привязать учеников просвещением к просвещенной жизни. – Не угодно ли кому-нибудь сделать еще какое-нибудь замечание?

Кнюппельдик: Я не могу больше скрывать свою уверенность, что настало наконец время открыть где-нибудь окно.

Цунгеншлаг: Здесь а-а-атмосфера, ка-ка-как в подземных ката-катакомбах, ка-как в а-а-актовом зале Вацларского Ка-ка-ка-мерихта.

Зонненштих: Габебальд!

Габебальд: Слушаю, господин Ректор!

Зонненштих: Откройте окно! У нас в городе, слава Богу, атмосферы достаточно. – Не угодно ли еще какое-нибудь замечание?

Флигентод: Если мои коллеги хотят, чтобы открыли окно, то я, со своей стороны, не могу ничего возразить против этого. Я только хотел бы просить, чтобы окно было открыто не за моей спиной.

Зонненштих: Габебальд!

Габебальд: Слушаю, господин Ректор!

Зонненштих: Откройте другое окно. – Не угодно ли еще какое-нибудь замечание?

Гунгергурт: Не желая возбуждать пререканий, я хочу только напомнить факт, что другое окно замазано еще с осенних каникул.

Зонненштих: Габебальд!

Габебальд: Слушаю, господин Ректор!

Зонненштих: Оставьте закрытым другое окно. Господа, я вижу себя вынужденным поставить предложение на баллотировку. Прошу коллег, желающих, чтобы единственное могущее быть открытым окно было открыто, – приподняться со своих мест. (Считает) – Один, два, три. – Один, два, три. – Габебальд!

Габебальд: Слушаю, господин Ректор!

Зонненштих: Оставьте и это окно закрытым! – Я, со своей стороны, полагаю, что лучшей атмосферы и желать нельзя! – Не угодно ли кому-нибудь сделать какое-нибудь замечание? – Господа! – Возьмем тот случай, что мы не будем просить министерство об исключении нашего порочного ученика, – тогда министерство народного просвещения сделает нас ответственными за совершившееся несчастье. Из числа гимназий, постигнутых эпидемией самоубийств, те гимназии, где двадцать пять процентов умерших пало жертвою эпидемии самоубийств, министерство народного просвещения временно закрыло. Охранять наше заведение от этого потрясающего удара является долгом нашим как хранителей и попечителей заведения. Нас глубоко огорчает, уважаемые коллеги, что мы не можем превосходные успехи нашего порочного ученика признать за смягчающее обстоятельство. Снисходительные приемы расследования, которые могли бы привести к тому, чтобы наш порочный ученик был оправдан, в настоящее время, ввиду серьезной угрозы существованию

заведения, не может быть оправдан. Мы видим себя поставленными в необходимость судить виновного, чтобы не быть судимыми, несмотря на свою невиновность. – Габебальд!

Габебальд: Слушаю, господин Ректор!

Зонненштих: Приведите его сюда!

(Габебальд уходит).

Цунгеншлаг: Если ца-ца-царящая здесь атмосфера считается, с компетентной стороны, хорошей, то я хотел бы вынести предложение, во время ле-летних каникул и второе окно за-за-за-за-за-заморозить.

Флигентод: Если нашему дорогому коллеге, Цунгеншлагу, помещение кажется достаточно хорошо вентилируемым, то я хотел бы внести предложение устранить вентилятор во лбу нашего дорогого коллеги Цунгеншлага.

Цунгеншлаг: Та-та-таких слов я не могу позволить! – Гру-грубости я не обязан выслушивать! – Я еще владею моими пя-пя-пя-пя-пя-чувствами...

Зонненштих: Я вынужден просить наших коллег Флигентода и Цунгеншлага, прекратить дебаты. Кажется, наш порочный ученик уже идет по лестнице.

(Габебальд открывает дверь, в которую входит Мельхиор, бледный, но спокойный).

Зонненштих: Подойдите ближе к столу! После того, как г-н рантье Штифель узнал о безбожном поступке своего сына, огорченный отец, в надежде найти объяснения ужасного деяния, осмотрел вещи своего сына Морица, и нашел в них

записку, которая, не разъясняя нам мотивов ужасного деяния, дает достаточное объяснение морального растлевания истинного виновника. Я говорю о сочинении, составленном в форме диалога, озаглавленном "Совокупление", снабженном рисунками в натуральную величину, размером в двадцать страниц; сочинение, которое могло бы ответить самым безнравственным требованиям, предъявляемым любителями неприличного чтения.

Мельхиор: Я...

Зонненштих: Вы должны вести себя тихо. – После того, как г-н рантье Штифель вручил эту рукопись нам, и мы дали огорченному отцу обещание во что бы то ни стало найти автора ее, – почерк этой рукописи был сравнен с почерками всех учеников и, по единогласному мнению ученого персонала, равно как и по мнению нашего уважаемого коллеги, преподавателя по каллиграфии, раскрылось поразительное сходство почерка рукописи с вашим.

Мельхиор: Я...

Зонненштих: Вы должны вести себя тихо. – Несмотря на подавляющий факт признанного неоспоримыми авторитетами сходства, мы считали себя обязанными воздержаться от дальнейших мероприятий до тех пор, пока не услышим от виновного признания в его проступке против нравственности, в связи с возникшим поводом к самоубийству. -

Мельхиор: Я...

Зонненштих: Вы должны отвечать на точно формулируе-

мые вопросы, которые я вам поставлю, откровенным и почтительным "да" или "нет". Габебальд!

Габебальд: Слушаю, господин Ректор!

Зонненштих: Книгу протоколов! – Прошу нашего секретаря, коллегу Флигентода, с этого момента записывать по возможности дословно. (К Мельхиору). – Вы знаете эту рукопись?

Мельхиор: Да.

Зонненштих: Вы знаете, что содержит эта рукопись?

Мельхиор: Да.

Зонненштих: Вам ли принадлежит почерк этой рукописи?

Мельхиор: Да.

Зонненштих: Вами ли сочинена эта безнравственная рукопись?

Мельхиор: Да. – Господин Ректор, я прошу вас указать, что в этой рукописи есть безнравственного.

Зонненштих: Вы должны отвечать на точно формулируемые вопросы, которые я вам ставлю, откровенным и почтительным "да" или "нет".

Мельхиор: Я написал ни больше, ни меньше, как только о хорошо известном факте.

Зонненштих: Испорченный мальчишка!

Мельхиор: Я прошу вас указать мне в рукописи проступок против нравственности.

Зонненштих: Не думаете ли вы, что я расположен играть роль шута. Габебальд!

Мельхиор: Я...

Зонненштих: В вас так же мало почтения к собравшимся здесь учительскому персоналу, как и уважения к врожденному всем людям чувству скромности и стыдливости. Габебальд!

Габебальд: Слушаю, господин Ректор!

Зонненштих: Ведь это же Лангенштейд для изучения в три часа волапука!

Мельхиор: Я...

Зонненштих: Вы должны вести себя тихо. Габебальд!

Габебальд: Слушаю, господин Ректор!

Зонненштих: Уведите его.



## Сцена вторая

(Кладбище, ливень. – Пред открытой могилой стоит пастор Кальбаух с развернутым зонтиком в руке. Справа от него рантье Штифель, друг его Цигенмелькер и дядя Пробст. Налево ректор Зонненштих с профессором Кнохенбрухом. Гимназисты замыкают круг. На некотором расстоянии перед полуразрушенным памятником Мария и Ильза).

Пастор Кальбаух: ... ибо тот, кто отверг милость, которую благословил предвечный Отец рожденного во грехе, умрет духовною смертью. И тот, кто в своевольном плотском отрицании Бога служил злу, умрет телесною смертью! Тот же, кто мятежно отвергнет крест, возложенный на него Милосердным за грехи его, истинно, истинно, говорю вам, умрет вечною смертью (бросает в могилу лопату земли). Мы же, идущие по тернистому пути все вперед и вперед, восхвалим Господа всеблагого и возблагодарим его за неисповедимое милосердие. Ибо, как этот скончался смертью тройною, так же истинно введет Господь Бог праведного в блаженство и в вечную жизнь. – Аминь!

Рантье Штифель (бросая в могилу лопату земли, сдавленным от слез голосом): Мальчик был не мой. – Мальчик был не мой. – Мальчик никогда меня не радовал.

Ректор Зонненштих (бросая в могилу лопату земли): Самоубийство, как наиболее серьезное покушение на нрав-

ственный порядок, является наиболее серьезным доводом в пользу нравственного порядка; ибо самоубийца, убегая от приговора нравственного порядка, тем самым удостоверяет существование нравственного порядка.

Кнохенбрух (бросая в могилу лопату земли): Загулялся – погряз распустился – промотался – развратился.

Дядя Пробст (бросая в могилу лопату земли): Родной матери не поверил бы, что ребенок может поступить так низко со своими родителями.

Друг Цигенмелькер (бросая в могилу лопату земли): Решился так поступить с отцом, который вот уже двадцать лет с утра до ночи не имеет другой мысли, кроме блага своего ребенка!

Пастор Кальбаух (пожимая руку рантье Штифелю): Мы знаем, что для тех, кто любит Бога, все бывает к лучшему, – I Коринф. 12, 15 – подумайте о безутешной матери и попытайтесь возместить ей потерянное двойной любовью.

Ректор Зонненштих (пожимая руку рантье Штифелю): Мы, вероятно, никак не могли бы перевести его.

Кнохенбрух (пожимая руку рантье Штифелю): Да если бы мы и перевели его, на следующий год он уж, наверное, остался бы.

Дядя Пробст (пожимая руку рантье Штифелю): Теперь перед тобою долг прежде всего думать о себе. Ты – отец семейства!..

Друг Цигенмелькер (пожимая руку рантье Штифелю): До-

верься мне!.. Проклятая погода! Продрог насквозь. Если немедленно не выпьешь грогу, то наверное схватишь аневризму.

Рантье Штифель (сморкаясь): Мальчик был не мой! – Мальчик был не мой!

Рантье Штифель удаляется в сопровождении пастора Кальбауха, профессора Кнохенбруха, ректора Зонненштиха, дяди Пробста и друга Цигенмелькера. Дождь меньше.

Гансик Рилов (бросая лопату земли в могилу): Мир праху твоему! Кланяйся моим вечным невестам и замолви обо мне словечко у Бога, – ты глупый бедняга! – За твою ангельскую невинность они поставят на твоей могиле птичье пугало.

Георг: Нашелся револьвер?

Роберт: Незачем искать его.

Эрнест: Ты его видел, Роберт?

Роберт: Проклятое головокружение. – Кто его видел? Кто?

Отто: Да ведь вот, – его прикрыли платком.

Георг: Язык вышел наружу?

Роберт: Глаза. – Поэтому его и закрыли.

Отто: Ужасно!

Гансик Рилов: Ты, наверное, знаешь, что повесился?

Эрнест: Говорят, у него нет головы!

Отто: Глупости! – Выдумки!

Роберт: Да ведь я держал в руках веревку! – я не видел еще ни одного повешенного, которого бы не закрывали.

Георг: Он поступил очень неостроумно.

Гансик Рилов: Что за чорт! Повеситься, – это красиво.

Отто: Мне он еще пять марок должен. Мы поспорили, – он уверял, что удержится.

Гансик Рилов: Ты виноват, что он здесь лежит: ты назвал его хвастуном.

Отто: Вот, мне же еще придется дрожать по ночам. Учил бы историю греческой литературы, нечего было бы и вешаться!

Эрнест: У тебя уже готово сочинение, Отто?

Отто: Только вступление.

Эрнест: Я просто не знаю, что и писать.

Георг: А разве ты не был, когда Аффеншмальц давал нам план?

Гансик Рилов: Я натаскаю себе из Демокрита.

Эрнест: Я посмотрю, может быть, что-нибудь найдется в малом Мейере.

Отто: Вергилий на завтра уже готов у тебя? –

(Гимназисты уходят. – Марта и Ильза подходят к могиле).

Ильза: Скорее, скорее. Уже идут могильщики.

Марта: А не подождать ли нам, Ильза?

Ильза: Зачем? – Мы принесем новых. Каждый раз новых и новых! – Растет довольно.

Марта: Ты права, Ильза!

(Бросает венок из плюша в могилу. Ильза раскрывает передник и из него на гроб дождем сыплются анемоны).

Я выкопаю наши розы. Меня все равно побьют. – Здесь они примутся.

Ильза: Я буду поливать их каждый раз, как пойду мимо. От Золотого ручья я принесу незабудок, а из дому – лилий.

Марта: Вот роскошь будет! Роскошь!

Ильза: Я перешла уже через мост и вдруг слышу выстрел...

Марта: Бедный!

Ильза: И я знаю причину, Марта...

Марта: Он сказал тебе?

Ильза: Параллелепипед! Но смотри, никому не говори!

Марта: Даю тебе слово!

Ильза: – Вот и револьвер.

Марта: Потому его и не нашли!

Ильза: Я вынула его из руки, когда утром проходила мимо.

Марта: Подари мне его, Ильза! – Пожалуйста, подари мне его!

Ильза: Нет, я оставлю его на память!

Марта: Правда, Ильза, что он там лежит без головы?

Ильза: Он, наверное, водою зарядил. Знаешь, царские кудри все, все кругом было забрызгано кровью. А мозг висел на ветвях ив.

## Сцена третья

Г-н и г-жа Габор.

Г-жа Габор: ... Им нужен был козел отпущения. Не хотели, чтобы всеобщие обвинения коснулись их. И вот мое дитя имело несчастье попасться к ним в руки в неподходящий момент, и я, родная мать, должна закончить дело его палачей? – Боже, избави меня от этого!

Г-н Габор: Целых четырнадцать лет я молча смотрел на твою остроумную систему воспитания. Она противоречила моим понятиям. Я всегда был убежден, что дитя – не игрушка; дитя имеет право на серьезное отношение к нему. Но я говорил себе, – если задушевность и обаяние одного в состоянии заменить серьезные принципы другого, то первое следует предпочесть второму. – Я не упрекаю тебя, Фанни, но не мешай мне исправить мою и твою несправедливость перед мальчиком.

Г-жа Габор: Нет, этого я не позволю, пока во мне останется хоть капля крови! В исправительном заведении мое дитя погибнет. Пусть в этих заведениях исправляют преступные натуры, я не знаю. Но нормальный человек, наверно, становится в них преступником, как погибает растение без воздуха и солнца. Я не считаю себя несправедливою. Я и теперь, как всегда, благодарю небо за то, что оно помогло мне пробудить в моем ребенке прямой характер и благородный образ

мыслей. Что он сделал такого страшного? Мне и не приходится в голову оправдывать его, – но в том, что его выгнали из гимназии, он не виноват. А если бы в этом и была его вина, – то он уж поплатился. Пусть ты знаешь все лучше. Пусть теоретически ты совершенно прав. Но я не дам погнать единственное мое дитя на верную гибель.

Г-н Габор: Это не зависит от нас, Фанни, – это опасность, которую мы взяли на себя вместе со счастьем. Тот, что слаб, остается на половине дороге, и в конце концов не так ужасно, если приходит неизбежное в свое время. Да сохранит нас Бог! Пока разум может найти средства, – долг наш ободрить колеблющегося. – Он не виноват, что его выгнали из школы. Но если бы его не выгнали из школы – он был бы не менее виноват! – Ты слишком легко относишься к этому. Ты видишь только нескромную шалость там, где дело идет об основном пороке характера. Вы, женщины, не умеете судить об этих вещах. Кто может писать то, что пишет Мельхиор, тот испорчен до мозга костей. Более или менее здоровая натура не дойдет до этого. Мы все не святые; каждый из нас иногда собьется с дороги. Но его сочинение поражает принцип. Его сочинение не случайный ложный шаг; оно с ужасной ясностью документирует искренне взлелеянные помыслы, какую-то естественную склонность, какое-то влечение к безнравственному потому, что оно безнравственно. Его сочинение говорит о той исключительной духовной испорченности, которую мы, юристы, обозначаем выражением "нрав-

ственное помешательство". – Я не могу сказать можно ли его исправить. О, если мы хотим сохранить для себя хоть луч надежды, и, прежде всего, как родители, безупречную совесть, то настало время серьезно и решительно взяться за дело. – Не будем больше спорить, Фанни. Я чувствую, как тебе тяжело. Я знаю, что ты его обожаешь, потому что он так соответствует твоим представлениям о гениальной естественности. Преодолей себя хоть раз. Покажи себя по отношению к своему сыну хоть раз, наконец, самоотверженной.

Г-жа Габор: Боже, помоги мне! Что сказать! – Надо быть мужчиной, чтобы так говорить. Надо быть мужчиной, чтобы так ослепляться мертвой буквой. Надо быть мужчиной, чтобы так слепо не видеть стоящего перед глазами. – Я с первого дня, как увидела Мельхиора восприимчивым к впечатлениям среды, обращалась с ним сознательно и добросовестно. Но разве мы ответственны за случай!.. Завтра упадет на твою голову кирпич с крыши, и вот придет твой друг – твой отец, и вместо того, чтобы ухаживать за раной, упрется в тебя коленом. – Я не позволю убить моего ребенка на моих глазах! Я мать! – Это непостижимо! Это совершенно невероятно! Что он пишет? Разве не лучшее доказательство его невинности, его ребячества, что он мог это написать! Надо совершенно не понимать людей, надо быть бездушным бюрократом или же бесконечно ограниченным человеком, чтобы говорить здесь о нравственном помешательстве. – Говори, что хочешь. Но если ты сдашь Мельхиора в исправительное заведение, – мы



разведемся. И тогда посмотрим, найду ли я где-нибудь помощи и средства для спасения моего ребенка от гибели.

Г-н Габор: Тебе придется примириться с этим не сегодня – завтра. Всякому тяжело учитывать несчастье. Я буду стоять рядом с тобой, и если ты начнешь падать духом, не отступлю ни перед какими жертвами и усилиями, чтобы облегчить твое сердце. Я вижу будущее таким серым и мрачным – не доставало еще и тебя потерять.

Г-жа Габор: Я больше не увижу его! Я больше не увижу его! Он не вынесет этой низости. Он не может жить в грязи. Он не может жить в грязи. Он ломает ярмо; страшный пример перед глазами. – А если я снов увижу его! – Боже! Боже! Его весенне-радостное сердце, его звонкий смех, – все, все – его детская решимость бороться за добро и правду, – о, это утреннее небо, как лелеяла я его чистым и светлым в его душе, мое высшее благо!.. Возьмись за меня, если поступок потребует наказания! Возьмись за меня! Поступай со мной, как хочешь. Я виновата. – Но не касайся своей страшной рукой ребенка.

Г-н Габор: Он совершил преступление.

Г-жа Габор: Нет, он не совершил преступления.

Г-н Габор: Он совершил преступление. Я дорого дал бы за то, чтобы скрыть это от тебя, бесконечно любящей... – Сегодня утром приходит ко мне одна женщина, с письмом в руках, – с письмом к ее пятнадцатилетней дочери. Из праздного любопытства она его распечатала; девочки не было до-

ма. – В письме Мельхиор объясняет пятнадцатилетней девочке, что его поступок не даст ему покоя, что он согрешил перед нею, и прочее, и прочее, – но что, конечно, он все исправит. Она не должна бояться, если почувствует последствия. Он готов помочь ей; его исключение облегчает это. Ложный шаг может еще принести ей счастье, – и вот все такой же нелепый вздор.

Г-жа Габор: Невозможно!

Г-н Габор: Конечно, письмо подделано? Конечно, это шантаж? Хотят воспользоваться известным всему городу исключением его из гимназии? Я не говорил еще с мальчиком, – но посмотри, пожалуйста, на почерк! Посмотри на слог!

Г-жа Габор: Неслыханное, бесстыдное озорство!

Г-н Габор: Боюсь, что это – правда.

Г-жа Габор: Нет, нет, никогда и никогда!

Г-н Габор: Тем лучше будет для нас. – Женщина, ломая руки, спрашивает, что ей делать. Я сказал, что она не должна пускать свою пятнадцатилетнюю дочь лазать по сеновалам. Письмо она, к счастью, оставила у меня. – Если мы отправим Мельхиора в другую гимназию, где он уже совсем не будет под надзором родителей, то через три недели повторится то же самое, – новое исключение, – его весенне-радостное сердце привыкнет к этому. – Скажи, Фанни, куда же деваться мне с мальчиком!

Г-жа Габор: В исправительное заведение!

Г-н Габор: Да?

Г-жа Габор: ... исправительное заведение.

Г-н Габор: Там он прежде всего найдет то, чего дома его неправильно лишали: железную дисциплину, правила и моральное воздействие, которому он должен подчиняться при всяких обстоятельствах. – Впрочем, исправительное заведение – не место ужасов, как ты себе представляешь. Главное внимание обращают там на развитие христианского образа мыслей и чувств. Там, наконец, мальчик научится хотеть хорошего, а не только интересного; там он научится в своих действиях не быть естественным, а подчиниться закону. – Полчаса тому назад я получил от брата телеграмму, подтверждающую слова женщины. Мельхиор открылся ему и просил двести марок для бегства в Англию...

Г-жа Габор: Милосердное небо!

## Сцена четвертая

Исправительное заведение. Коридор. – Дитгельм, Рейнгольд, Рупрехт, Гельмут, Гостон и Мельхиор.

Дитгельм: Вот монета двадцать пфеннигов.

Рейнгольд: Ну и что же?

Дитгельм: Я положу ее на пол, вы станете вокруг. Кто в нее попадет, тот и берет.

Рупрехт: Хочешь к нам, Мельхиор?

Мельхиор: Нет, спасибо.

Гельмут: Иосиф Прекрасный!

Гостон: Ему нельзя. Он здесь на даче.

Мельхиор (про себя): Это не умно, что я их чуждаюсь. Все обращают на меня внимание. Я должен быть с ними, – или все пойдет к чорту. – Тюрьма ведет их к самоубийству. – Сломаю себе шею – хорошо. Уйду – тоже хорошо. Я могу только выиграть. – Рупрехт будет моим другом, он все здесь знает. Я угощу его главами про Фамарь, невестку Иуды, про Моаву, про царицу Васти и Ависалу сунамитку, про Лота и его присных. – В этом отделении у него самая несчастная физиономия.

Рупрехт: Беру!

Гельмут: И я попал!

Гостон: Попадешь послезавтра.

Гельмут: Теперь, сейчас! Боже! Боже!

Все: Summa-summa cum laude!

Рупрехт (схватывая монету): Спасибо!

Гельмут: Сюда, собака!

Рупрехт: Ах ты, свинья!

Гельмут: Ворона с виселицы!

Рупрехт (ударяя его в лицо): На тебе! (Убегает).

Гельмут: Я его убью!

Остальные (бегут): Куси! Куси, моська! Куси! Куси!

Мельхиор (один, обернувшись к окну): Вниз идет громотвод. – На него надо намотать носовой платок. – Когда я думаю о ней, кровь бросается мне в голову. И мысль о Морице ложится свинцом в ногах. Я пойду в редакцию. Платите мне сотню, – я буду разносить! – Буду собирать новости, – писать местную хронику – этически – психологически... – Теперь не так легко умереть с голоду. Народная столовая, Cafe Tempérance. – Дом в шестьдесят футов в высоту и штукатурка обваливается... – Она ненавидит меня, она ненавидит меня за то, что я отнял у нее свободу. Если я действую, как хочу, получается насилие. – Я могу надеяться только на одно, – что когда-нибудь постепенно... – Через неделю новолуние. Завтра я заброшу удочку. У субботы во что бы то ни стало должен знать, у кого ключ. – В воскресенье вечером припадок каталепсии... – Бог даст, других не будет больных. – Все так ясно, точно уже свершилось. Через оконный карниз я перескачу легко – один прыжок, – хватиться рукой, – только надо намотать носовой платок. – Вот идет великий инкви-

зитор.

(Мельхиор уходит налево. Доктор Прокрустус и слесарь входят справа).

Доктор Прокрустус: ... Правда, окна в третьем этаже, а внизу растет крапива. Но разве эти выродки побоятся крапивы! – Прошлую зиму один вылез из слухового окна и нам пришлось таки повозиться, – поймать, привезти, посадить...

Слесарь: Так вы желаете решетку кованного железа?

Доктор Прокрустус: Да, кованного железа. И чтобы ее нельзя было высадить, – с заклепками.

## Сцена пятая

(Спальня. – г-жа Бергман, Ина Мюллер, и медицины советник, доктор Браузепульфтор. – Вендла в постели).

Доктор Браузепульфтор: Но сколько, собственно говоря, вам лет?

Вендла: Четырнадцать с половиной.

Доктор Браузепульфтор: Я прописываю пилюли уже пятнадцать лет, и в большинстве случаев наблюдая поразительный успех. Я предпочитаю их всем другим средствам. Начните тремя, четырьмя пилюлями в день, и повышайте на сколько вы вынесете. Барышне Эльфрид баронессе фон-Вицлебен я прописал принимать каждые три дня на одну пилюлю больше. Баронесса не поняла меня и повышала прием каждый день на три пилюли. И через три недели баронесса могла уже уехать на поправку с баронессою, своей мамою в Пирмон. – От утомительных прогулок и от усиленного питания я вас освобождаю. За это, милое дитя, вы обещаете мне тем больше двигаться и без стеснения есть, как только у вас появится аппетит; сердцебиение скоро пройдет, – и головная боль, и головокружение, и наши ужасные желудочные боли. Барышня Эльфрида баронесса фон-Вицлебен уже через неделю после начала лечения съедала за завтраком целого цыпленка с молодым картофелем.

Г-жа Бергман: Позвольте предложить вам стакан вина,

господин медицины советник.

Доктор Браузепульфтор: Спасибо, милая г-жа Бергман, меня ждет мой экипаж. – Не принимайте так близко к сердцу. Недели через две наша милая маленькая пациентка будет снова свежей и бодрой, как газель. Не робейте. До свидания, г-жа Бергман. До свидания, милая девочка. До свидания, сударыня. До свидания.

(Г-жа Бергман провожает его до двери).

Ина (у окна): А ваши платаны снова зацвели. – Тебе с постели видно? Такая кратковременная роскошь! Почти не стоит радоваться, когда видишь, как она приходит и снова уходит. – Однако, мне пора уйти. Мой Мюллер будет ждать меня у почты, а еще мне надо зайти к портнихе. Сегодня Муки получил свои первые штанишки, а Карлу необходим новый костюм трико к зиме.

Вендла: Иногда мне становится так хорошо, – Все радостно, все солнечно блестит. Думала ли я, что может быть так легко, так хорошо на сердце! – Мне хотелось бы на воздух, – пройтись вечером по лугам, поискать цветов у реки, посидеть у берега, помолчать... И вдруг приходит зубная боль, – мне кажется, что завтра я умру; меня бросает то в жар, то в холод, в глазах темнеет, и вкрадывается чудовище. Когда бы я не проснулась, я вижу – мама плачет. О, мне это так больно, – я не могу высказать тебе, Ина!

Ина: Не поднять ли тебе подушку?

Г-жа Бергман (возвращаясь): Он думает, что возможна и



рвота; а потом ты себе встанешь. И я думаю, Вендла, что было бы лучше, если бы ты поскорее встала.

Ина: Когда я приду следующий раз, ты, может быть, уже будешь бегать по комнате. – Прощай, мама, мне надо к портнихе. Да хранит тебя Бог, милая Вендла! (Целует ее). Скорее, скорее поправляйся.

Вендла: Час добрый, Ина. – Принеси мне цветов, когда опять придешь. Adieu. Поклонись от меня своим мальчишкам. (Ина уходит).

Вендла: Что он там еще говорил, мама?

Г-жа Бергман: Он ничего не сказал. – Он сказал, что у барышни фон-Вицлебен была предрасположена к обморокам; это, кажется, почти всегда бывает при малокровии.

Вендла: Он сказал, мама, что у меня малокровие?

Г-жа Бергман: Ты должна пить молоко, есть мясо и овощи, когда вернется аппетит.

Вендла: О, мама, мама, я думаю, у меня не малокровие.

Г-жа Бергман: У тебя малокровие, дитя. Успокойся, Вендла, успокойся. У тебя малокровие.

Вендла: Нет, мама, нет. Я это знаю. Я это чувствую. У меня не малокровие, у меня водянка.

Г-жа Бергман: У тебя малокровие. Он положительно сказал, что у тебя малокровие. Успокойся, девочка, ты поправишься.

Вендла: Мне не поправиться, мамочка. У меня водянка. Я умираю, мама. О, мама, я умираю!

Г-жа Бергман: Ты не умрешь, дитя. Ты не умрешь... – Милосердное небо, ты не умрешь!

Вендла: А зачем же ты так жалобно плачешь?

Г-жа Бергман: Ты не умрешь, дитя. У тебя не водянка. У тебя, девочка моя, будет ребенок. У тебя будет ребенок! – О, зачем ты мне это сделала!

Вендла: Я ничего не сделала.

Г-жа Бергман: Не отрицай уж, Вендла. Я все знаю. Видишь, я не решалась сказать тебе хоть одно слово. – Вендла, Вендла моя!

Вендла: Но ведь это невозможно, мама! Ведь я же не замужем!

Г-жа Бергман: Великий, милосердный Боже! – В том то и беда, что ты не замужем. Ведь это – самое ужасное! Вендла, Вендла, Вендла, что ты сделала!

Вендла: Видит Бог, что я ничего не знаю! Мы лежали на сене... Никого на всем свете я не любила, только тебя, мама.

Г-жа Бергман: Сокровище мое!

Вендла: Мама, зачем же ты мне не сказала?

Г-жа Бергман: Дитя, дитя, не делай нам обеим еще тяжелее. Овладей собою. Не мучай меня, дитя мое. – Сказать это четырнадцатилетней девочке! Пойми, я скорее могла подумать, что солнце погаснет. Я с тобою поступила, как моя милая, добрая мать. – Вендла, положимся на милосердного Бога, будем надеяться на его милость, и сделаем сами, что можем. Видишь, еще ничего не случилось, дитя. Если мы

не будем падать духом, Бог нас не оставит. – Будь бодрее, Вендла, будь бодрее. – Так вот сидишь иногда у окошка, положишь руки на колени, – потому что все благополучно, и вдруг врывается это, и сердце разрывается на части... Что ты дрожишь?

Вендла: Кто-то постучался.

Г-жа Бергман: Я ничего не слышала, сердце мое. – (Подходит к двери и открывает ее).

Вендла: А я слышала так ясно. – Кто там?

Г-жа Бергман: Никого. – Мать кузнеца с Гартенштрассе. – Как хорошо, что вы пришли, бабушка, – добро пожаловать!

## Сцена шестая

Сборщики винограда, мужчины и женщины, в винограднике. На западе солнце опускается за вершину горы. Из долины доносится чистый перезвон колоколов. Гансик Рилов и Эрнест Ребель вверху лежат в засохшей траве над свешивающимся утесом.

Эрнест: Я переутомился.

Гансик: Не будем грустить. – Жаль мгновений.

Эрнест: Вот видишь, как всюду они висят, но больше не могу, – а завтра их выжмут.

Гансик: Я не выношу усталости так же, как и голода.

Эрнест: Ах, я больше не могу!

Гансик: Еще этот светлый мускат.

Эрнест: Больше не помещается.

Гансик: Когда согнешь лозу, она начнет качаться ото рта ко рту. Даже и шевелиться не надо. Откусим ягоду за ягодой все и отпустим лозу.

Эрнест: Только решишься, – и снова воскресают исчезнувшие силы.

Гансик: И эта пламенеющая твердь! – И вечерний звон!.. – Я не жду большего от будущего.

Эрнест: Порою я вижу себя уже священником, – добродушная хозяйка, богатая библиотека, почет и уважение ото всех. Шесть дней думай, а на седьмой рот открой. На про-

гулке школьникам и школьникам протягиваешь руку, а когда придешь домой, дымится кофе, на стол ставятся пироги, а через дверь из сада девочки вносят яблоки. Можешь ли ты себе представить что-нибудь лучше?

Гансик: Я представляю себе полузакрытые веки, полуоткрытый рот, турецкие драпировки. Я не верю в пафос. Смотри, наши старшие строят длинные лица, желая прикрыть свои глупости. Между собою они называют друг друга ослиными головами, как и мы. Я это знаю. – Если я буду миллионером, я поставлю памятник Богу. – Представь себе будущее, как молоко с сахаром и корицею. Один проглатывает и ревет, другой смешивает и потеет. А почему бы не снимать сливок? – Или ты не думаешь, что этому можно научиться?

Эрнест: Буду снимать сливки.

Гансик: Что останется, склюют куры. – Я уже столько раз вытаскивал голову из петли...

Эрнест: Будем снимать сливки, Гансик. – Чему ты смеешься?

Гансик: Ты уже опять начинаешь.

Эрнест: Кому-нибудь да надо начать.

Гансик: Если мы в тридцать лет подумаем о таком вечере, как этот, то он, может быть, покажется нам неслыханно прекрасным.

Эрнест: А теперь все делается так, само собою.

Гансик: Так что ж!

Эрнест: А когда случайно останешься один, – тогда, может

быть, станешь плакать.

Гансик: Не будем грустить. (Целует его в губы).

Эрнест (Целуя его): Я ушел из дома с мыслью только поговорить с тобою, и сейчас же вернуться.

Гансик: Я ждал тебя. – Добродетель одевается не худо, но для нее надо иметь импозантную фигуру.

Эрнест: Она все еще вьется вокруг нас. – Я не успокоился, если бы не встретил тебя. – Я люблю тебя, Гансик, как не любил еще никого.

Гансик: Не будем грустить... Если в тридцать лет мы вспомним об этом, мы станем, может быть, смеяться. – А теперь все так красиво. Горы пылают пожаром; виноград падает к нам в рот, а вечерний ветер трется о скалы, как ласковая кошечка...

## Сцена шестая

Светлая ноябрьская ночь. На кустах и на деревьях шумит поблеклая листва. Под месяцем несутся разорванные облака. – Мельхиор карабкается через кладбищенскую стену.

Мельхиор (спрыгивая): Сюда не придет эта свора. – Пока они будут искать в публичных домах, я могу свободно вздохнуть и осмотреться... Сюртук в лохмотьях, карманы пусты, я не в безопасности и перед самым слабым. – Целыми днями я должен был блуждать по лесам. – Я свалил крест. – Цветы замерзли сегодня. – Кругом – голая земля. –

В царстве смерти!

Выкарабкаться из слухового окна было не так трудно, как идти по этой дороге. – Об этом я не подумал. -

Я вишу над пропастью, – все утонуло, исчезло, – ах, остаться бы там!

Почему она из-за меня? – Почему не тот, кто виновен? – Неисповедимый промысел! – Я бил бы щебень и голодал бы...

Что еще меня поддерживает? Преступление за преступлением. – Я брошен в болото. – Нет сил решиться. -

Я не был скверным! – Я не был скверным! – Я не был скверным! -

Ни один смертный не проходил еще с такой завистью мимо могил. – Ах, у меня не хватило бы духу! – О, сойти бы

мне с ума теперь же, – в эту же ночь!

Надо искать там, между последними. – Ветер из каждого камня выдувает различные звуки, – страшная симфония! – Сгнившие венки разрываются на части и обвиваются своими длинными лентами вокруг мраморных крестов. – Лес пугал. – Пугала на всех могилах, одно ужаснее другого, – высоко, как дома, – от них бегут бесы. – Золотые буквы блестят так холодно. Плакучая ива охает и водит гигантскими пальцами по надписи.

Молящийся ангел. – Доска. – Облако бросает тень. – Как спешат. Как воют! – Точно войско поднимается с востока. – Ни звезды, ни небо.

Иммортель в палисаднике? – Иммортель! – Девочка.

?

Здесь почивает в Бозе

Вендла Бергман

Родилась 5 мая 1878 г.,

Скончалась от малокровия

27 октября 1892 г.

Блаженны чистые сердцем...

– Я ее убийца. – Я – ее убийца! – Мой удел – отчаяние! –

Я не смею здесь плакать. – Прочь отсюда! – Прочь!

Мориц Штифель (с головой под мышками поднимается над могилами): Одну минуту, Мельхиор. Случай не так скоро повторится. Ты не представляешь себе, что связано с местом и временем. -



Мельхиор: Откуда ты?

Мориц: Оттуда – от стены. Ты свалил мой крест. Я лежу у стены. – Дай мне руку, Мельхиор.

Мельхиор: Ты не Мориц Штифель!

Мориц: Дай мне руку. Я убежден, что ты будешь благодарить меня. В другой раз это не дастся тебе так легко. Это – странно счастливая встреча. Я вышел нарочно...

Мельхиор: Разве ты не спишь?

Мориц: Нет, не то, что вы называете – спать. – Мы сидим на церковных камнях, на высоких фронтонах, – где захотим...

Мельхиор: Вы в вечном беспокойстве?

Мориц: Это нам доставляет удовольствие. – Мы летаем над березами, над одинокими часовнями. Мы носимся над народными собраниями, над убежищами горя, над садами, над гуляньями. – В домах мы таимся в комнатах и альковах. – Дай мне руку. – Мы не сообщаемся друг с другом, но мы видим и слышим все, что происходит на свете. Мы знаем, что все глупость, все, что делают люди, к чему они стремятся, и смеемся над этим.

Мельхиор: Какая в этом польза?

Мориц: К чему польза? – Нас ничто не может достигнуть, ни добро, ни зло. Мы стоим высоко, высоко над всем земным. – Каждый только для себя. Мы не сообщаемся друг с другом, потому что это очень скучно. Никто из нас не имеет ничего, что бы он мог утратить. Над горем, над радостью

одинаково мы стоим недостигаемо высоко. Мы довольны собой, – и это все. – Мы презираем живущих несказанно, почти не можем сочувствовать им. Они забавляют нас своею суетою, – потому что им, как живущим, в самом деле, нельзя сочувствовать. Над их трагедиями мы улыбаемся, – каждый про себя, – и размышляем. – Дай мне руку. Если ты дашь мне руку, ты посмеешься над страхом, с которым даешь ее.

Мельхиор: Тебе это не противно?

Мориц: Для этого мы стоим слишком высоко. Мы улыбаемся. – На моих похоронах я был вместе с живыми. Я забавлялся. Это величественно, Мельхиор. Я выл, как ни кто из них, и метнулся за стену, чтобы нахохотаться до упаду. Наша недостижимая высота является единственной точкою зрения, с которой можно переваривать эту нелепость... – И я, до того, как поднялся, был довольно смешон.

Мельхиор: Я не люблю смеяться над самим собою.

Мориц: Люди, как таковые, действительно, не достойны сожаления. Уверяю, я никогда бы этого не подумал. А теперь я даже и не понимаю, как можно быть таким наивным. Теперь я вижу все насквозь так ясно, что не остается ни облачка. – Как ты можешь колебаться, Мельхиор? Дай мне руку. В один момент ты вознесешься выше небес. Жизнь твоя – грех упущения.

Мельхиор: А вы можете забывать?

Мориц: Мы все можем. – Дай мне руку. – Мы жалеем юношу, когда он считает свою трусость идеализмом, и старика,

когда у него разрывается сердце перед силою стоицизма. Мы не обращаем внимания на маску комедианта и видим поэта, в темноте надевающим маску. Мы замечаем довольных их нищетою, и капиталистов, погруженных в заботы и обремененных горестями. Мы наблюдаем влюбленных и видим, как они краснеют друг перед другом, предчувствуя в себе обманутых обманщиков. Мы видим, как люди рожают детей своих и кричат им: "Как вы счастливы, что у вас такие родители". – Мы видим, как дети уходят от них и делают то же самое. – Покой, удовольствие, Мельхиор. Тебе стоит протянуть мне мизинец, – ведь прежде, чем тебе снова представится такой удобный случай, ты поседеешь, как лунь...

Мельхиор: Если я решусь, Мориц, то только потому, что презираю себя. Я презренный. То, что мне придавало бодрость, лежит в могиле. Я уже не могу считать себя достойным благородных движений. Я уже не вижу ничего, ничего, что могло бы остановить мое падение. Я кажусь себе самой презренной тварью во вселенной.

Мориц: Так что же ты колеблешься.

(Появляется Человек в маске).

Человек в маске (Мельхиору): Ты дрожишь от голода. Ты совершенно не в состоянии решать. – (Морицу): Уходите.

Мельхиор: Кто вы?

Человек в маске: Это откроется. – (Морицу): Удалитесь. Что вам здесь надо? Почему на вас нет головы?

Мориц: Я застрелился.

Человек в маске: Так оставайтесь на своем месте. Ведь вы уже кончились. Не мешайте нам вашим могильным запахом. Непостижимо, – да посмотрите хоть на свои пальцы! Фи, чорт возьми! Все искрошилось!

Мориц: Пожалуйста, не гоните меня.

Мельхиор: Кто вы, сударь?

Мориц: Не гоните меня. Прошу вас. Позвольте мне хоть немного побыть здесь. Я ни в чем не помешаю вам. – Внизу так страшно!

Человек в маске: Так что же вы хвастаете вашим величием? Ведь вы же знаете, что все это – обман, чепуха. Зачем вы лжете так бойко, – вы, мертвец? – Впрочем, если это будет для вас таким благодеянием, оставайтесь. Но берегитесь хвастать, милый друг, – и, пожалуйста, бросьте вашу игру с рукою мертвеца.

Мельхиор: Скажете ли вы, наконец, кто вы, или нет?

Человек в маске: Нет. – Я предлагаю тебе довериться мне. Я позабочусь прежде всего о том, чтобы увести тебя.

Мельхиор: Вы – мой отец?

Человек в маске: Разве ты не узнал бы своего отца по голосу?

Мельхиор: Нет.

Человек в маске: Твой отец ищет теперь утешения в крепких объятиях твоей матери. – Я открою тебе глаза на мир. Беспомощность твоя возникла вследствие твоего жалкого положения. После горячего ужина мы посмеемся над нею.

Мельхиор (про себя): Это, наверное, один из чертей. (Громко). После того, что я сделал, горячий ужин не возвратит мне покоя.

Человек в маске: Смотря какой ужин. Я могу сказать тебе, что малютка родила бы отлично. Она была превосходно сложена. Она умерла от abortивных средств старой кузнечихи. – Я поведу тебя к людям. Я дам тебе возможность расширить твой горизонт до сказочных размеров. Я познакомлю тебя со всем без исключения, что есть интересного в мире.

Мельхиор: Кто вы? Кто вы? – Я могу довериться человеку, которого не знаю?

Человек в маске: Ты не узнаешь меня, пока не доверишься.

Мельхиор: Вы думаете?

Человек в маске: Факт. У тебя нет выбора.

Мельхиор: Я могу в каждую минуту протянуть руку моему другу.

Человек в маске: Твой друг – шарлатан. У кого есть хоть грош за душою, не станет издеваться. Возвышенный юморист – самое жалкое, самое ничтожное создание.

Мельхиор: Кем бы ни был этот юморист, – скажите мне, кто вы, или я протяну руку этому юмористу.

Человек в маске: Ну?!

Мориц: Он прав, Мельхиор. Я только хвастал. Пусть он тебя ведет, пользуйся им. Хоть бы он еще больше закрылся, – он все таки существует.

Мельхиор: Вы верите в Бога?

Человек в маске: Смотря по обстоятельствам.

Мельхиор: Скажите мне, кто изобрел порох?

Человек в маске: Бертольд Шварц, – он же Константин Анклцен, францисканский монах из Фрейбурга, в 1330 году.

Мориц: Что бы я дал за то, чтобы он этого не делал!

Человек в маске: Тогда бы вы повесились.

Мельхиор: Что вы думаете о морали?

Человек в маске: Мальчишка, – разве я – твой ученик!

Мельхиор: Знаю я, кто вы!

Мориц: Не спорьте. Пожалуйста, не спорьте. Что выйдет из этого? Зачем сидеть нам, двум живым и одному мертвецу, ночью, в два часа, здесь на кладбище, если вы хотите спорить, как пьяные. – Мне приятно слушать вашу беседу. Но если вы желаете спорить, я беру мою голову под мышки и ухожу.

Мельхиор: Ты все еще такой же трус!

Человек в маске: Мертвец не так уж неправ. Нельзя пренебрегать достоинством. – Под моралью я понимаю реальный продукт двух мнимых величин "хочу" и "должен". Продукт называется моралью, и в его реальности его нельзя отрицать.

Мориц: Если бы вы сказали мне это раньше! – Моя мораль погнала меня к смерти. Из-за моих дорогих родителей я схватился за орудие самоубийства. "Чти отца твоего и мать твою и долговечен будешь на земле". На мне Писание феноменально осрамилось.

Человек в маске: Милый друг, не предавайтесь иллюзиям. Ваши добрые родители не умерли от этого, так же как и вы. Строго говоря, они шумели бы только по привычке раздражаться.

Мельхиор: Может быть, это верно. Но я могу с уверенностью сказать вам, сударь, что если бы я протянул руку Морицу, виною этому была бы моя мораль.

Человек в маске: Да ведь ты не Мориц.

Мориц: По моему мнению, однако, разница не так уж велика, чтобы вы, уважаемый незнакомец, не могли встретить случайно и меня, когда я бежал с револьвером в кармане сквозь лесную чащу.

Человек в маске: Разве вы не припоминаете меня? Ведь вы поистине до последнего момента находились между жизнью и смертью. – Впрочем, по-моему, здесь вовсе не место вступать в столь серьезные дебаты.

Мориц: Конечно, становится прохладно, господа. Правда, мне дали праздничный костюм, но на мне совсем нет белья.

Мельхиор: Прощай, милый Мориц. Куда поведет меня этот человек, я не знаю. Но он человек.

Мориц: Не обвиняй меня, Мельхиор, что я пытался покончить с тобою. Это была старая привязанность. – Всю жизнь согласился бы страдать, если бы мог хоть раз пойти за тобою.

Человек в маске: В конце концов, у каждого своя участь, – у вас успокаивающее сознание ничего не имеет, у тебя – де-

ятельное сомнение во всем. – Прощайте.

Мельхиор: Прощай, Мориц. Сердечно благодарю, что ты ко мне пришел. Как много радостных, светлых дней провели мы вместе в эти четырнадцать лет! Обещаю, Мориц, чтобы ни случилось, как бы ни изменился я в будущем, пойду ли я вперед или назад, – никогда я тебя не забуду.

Мориц: Спасибо, спасибо, любимый.

Мельхиор: И когда я, наконец, стану седым стариком, ты будешь мне ближе, чем все живые.

Мориц: Благодарю тебя. – Счастливый путь, господа. Я не стану больше задерживать вас.

Человек в маске: Идем дитя.

(Он кладет свою руку на руку Мельхиора и удаляется с ним среди могил).

Мориц (один): Вот я сижу, держу мою голову в руках. – Месяц прячет свое лицо, снова открывает его, но не кажется ни на волос умнее. – Вернусь на мое местечко, поправлю мой крест, который так беспощадно опрокинул сумасброд, и когда все будет в порядке, лягу снова на спину, согреюсь тленьем и улыбнусь.